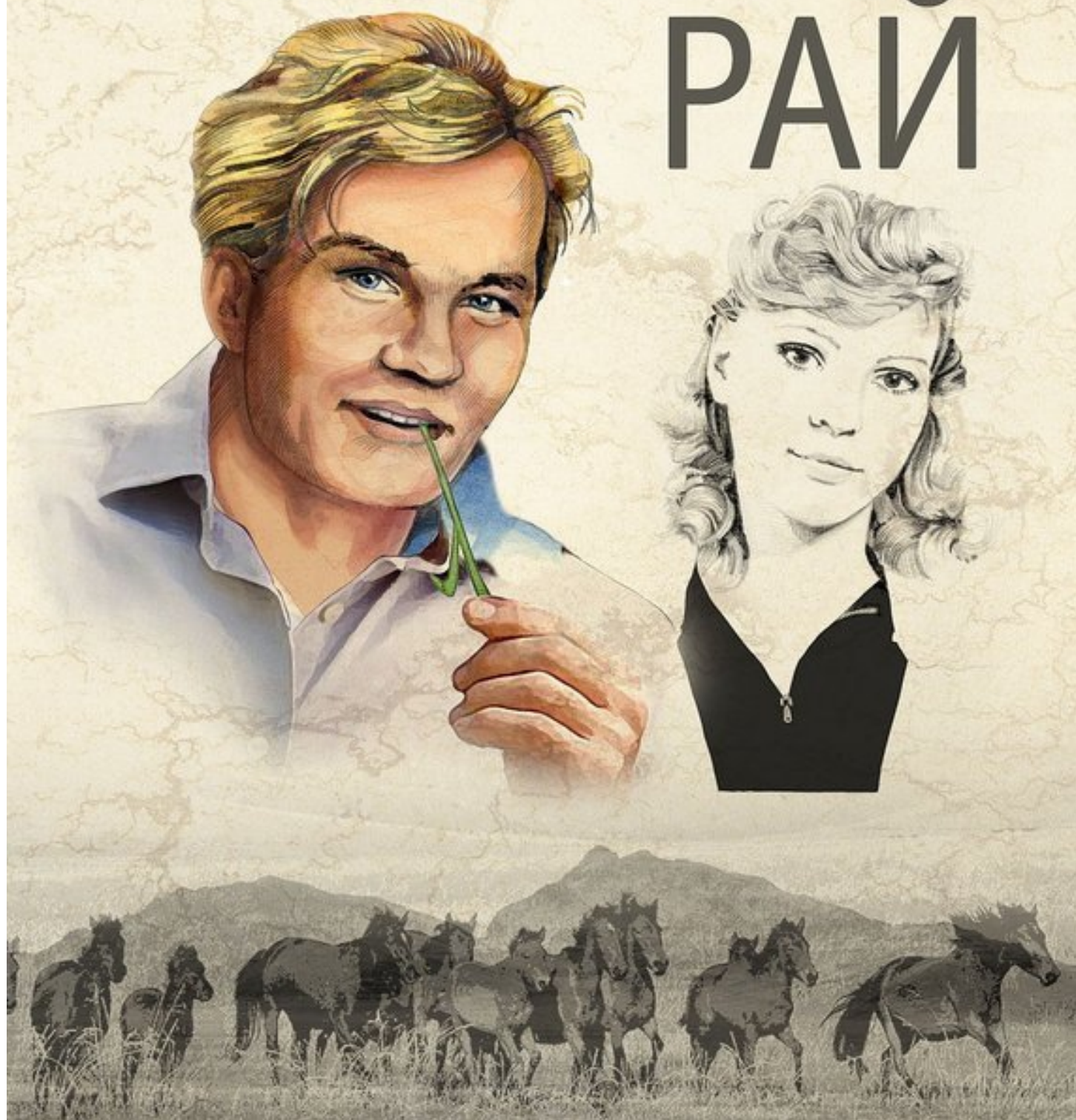


РУССКИЙ Крест

Александр ЛАПИН

УТЕРЯННЫЙ РАЙ



Русский крест

Александр Лапин

Утерянный рай

«Автор»

2013

Лапин А. А.

Утерянный рай / А. А. Лапин — «Автор», 2013 — (Русский крест)

Роман «Русский крест» – «сага о поколении», о тех, чья юность совпала с безмятежным периодом застоя, и на кого в 90-е пришелся основной удар, потребовавший «выбора пути», «перекройки» мировоззрения, создания новой картины мира. Интимный дневник, охватывающий масштабный период конца XX – начала XXI века, раскрывает перипетии и повороты судеб нескольких школьных друзей в контексте вершившихся исторических событий. Первая книга романа – «Утерянный рай» о юности главных героев. Четыре закадычных школьных друга – ученики старших классов, которым предстоит уехать из родного села, чтобы найти свою дорогу в жизни... В судьбе каждого из нас есть свой утерянный рай – это наша юность, это место, где мы родились, это великая страна, в которой мы все когда-то жили... Если же оставить в стороне социальные аспекты, то нельзя не отметить, что эта книга о любви, может быть, о любви в первую очередь.

© Лапин А. А., 2013

© Автор, 2013

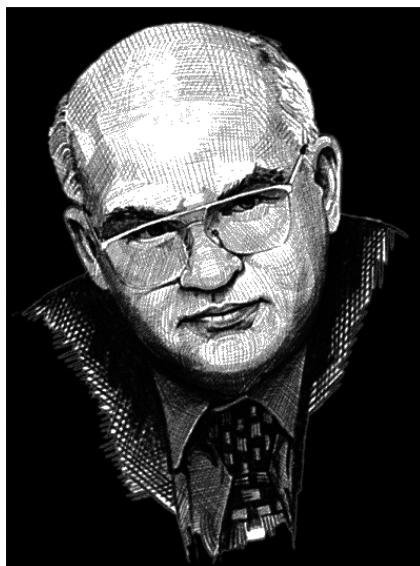
Содержание

От автора	5
Часть I	6
I	8
II	9
III	11
IV	13
V	16
VI	24
VII	26
VIII	27
IX	29
X	33
XI	34
XII	36
XIII	37
XIV	40
XV	42
XVI	45
XVII	48
XVIII	50
XIX	51
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Александр Лапин

Утерянный рай

От автора



Хочу поблагодарить Вас за то, что держите в руках эту книгу!

Тешу себя надеждой, что возникший интерес не будет исчерпан первой страницей.

«Утерянный рай» – это первая книга романа «Русский крест», в котором я пытаюсь осмыслить не столько прожитые годы (это произведение нельзя назвать автобиографическим), сколько события, которые повлияли на судьбу моего «непуганого» поколения – людей, чья юность пришлась на «спокойные» семидесятые.

«Утерянный рай» – повесть о счастливых годах юношества, о первом опыте самостоятельно принятых решений, о выборе, дружбе, и, конечно, первой любви.

Каждая книга романа «Русский крест» – новый этап в жизни не только главных героев, но и в судьбе страны. Я принадлежу к поколению людей, которые в девяностые годы двадцатого века, в момент гибели великой империи, активно участвовали в событиях, навсегда изменивших судьбу России.

Каждому из нас, кто прошел этот путь, пришлось многое испытать, защищать свои семьи, убеждения, находить свое место в новой картине мира. Нам всем есть что рассказать и чем поделиться! Я рассматриваю свой роман как дневник поколения, как летопись судеб и событий, свидетелями которых мы с вами были.

Ваш А. Лапин

Часть I

в полдень на дороге

И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая.
Библия. Ветхий Завет. Первая книга Моисея. Бытие. Гл. 2





I

Мальчик был маленький. И времени для него еще не было. Было только непостижимое пространство зеленой лужайки. А в центре его – таинственная, притягивающая своей тайной белая планета – прохладная пушистая хризантема.

Над белой планетой сейчас летал крохотный полосатый монстр. Его прозрачные крылья гудели, а мохнатые, рахитично полусогнутые ножки с острыми коготками нащупывали опору. Наконец он зацепился за белый гибкий лепесток хризантемы и повис на нем. Хрустальные глаза, словно зеркала, отразили голубую траву и сидящего перед цветком ребенка.

Ребенок был мир.

Оса тоже была мир.

Блестящие, широко раскрытые зрачки мальчика с интересом смотрели на нее.

Затем ребенок протянул руку и взял летающего тигра пальчиками.

Два мира встретились.

Оса повернула голову. Обидчиво поджала хоботок. Предупреждающе, как бы примериваясь, выпустила и снова втянула в брюшко зазубренное жало. Ребенок в ответ крепче сжал пальцы на плотном полосатом панцире.

Тогда оса, резко подгибая брюшко, ударила черным стилетом в розовый пальчик.

Крик боли и ужаса огласил вселенную лужайки...

В это мгновение ребенок узнал о законах жизни больше, чем узнает за всю оставшуюся жизнь.

II

Дом Дубравиных последний в уличном ряду и стоит на краю села. Дальше никто не строится, потому что метров через пятьдесят обрыв. Под ним шумит река. Ее берег – гладко облизанные течением зеленовато-замшелые каменные глыбы.

Сейчас Ульба лениво несет желто-мутные воды. Силу ее выпивает насосами, расходует на полив человек. Но каждую весну, в паводок, она вздувается, чернеет. Кипящий, бурлящий поток ревет и тащит на себе доски, корзины, вымытые с корнем деревья, мусор. Все это с треском, грохотом бьется здесь на речном повороте о каменный обрыв берега и уносится дальше вниз.

Напротив дома на левом пологом берегу – прозрачный, прохладной зелени лес. А на правом – село, за огородами и садами которого бескрайнее поле. Через него напрямик бежит дорога, обсаженная тополями.

Просторно. Только далеко-далеко за горизонтом, как подвешенная в синеве неба, белая-белая от вечных снегов вершина. Белуха.

Небольшой, но пятикомнатный дом Дубравиных внутри спланирован неудачно. Обстановка в нем причудливо сочетает мебель пятидесятих годов с вкраплениями вполне современных вещей.

Особенно заметно это в комнате младшего сына, где главное место занимает большая металлическая кровать с панцирной сеткой и никелированными шишечками. На ней двумя горками высятся пухленькие белоснежные подушки с вышитыми надписями: «Спокойной ночи!», «Поздняя птичка глазки продирает, а ранняя носик прочищает!»

Мать видела такое убранство у казахстанских немцев и теперь, подражая им, завела его у себя.

Над этим сложным архитектурным сооружением висит ковер с причудливым сине-красным орнаментом. Над ним – большие фотографии молодых родителей. Они отретушированы и увеличены умельцем-фотографом, что ходят по селам и делают из малюсеньких потрепанных фотографий «портреты». Сходство с оригиналами весьма отдаленное, но зато «красиво».

Остается добавить, что через всю комнату от входа до окна тянется зеленая шерстяная дорожка. А в углу громоздится неподъемный полированный шкаф с зеркальной дверью.

Однако у стены напротив стоит вполне современная кушетка. На стуле около нее молочно белеет пластмассовым корпусом магнитофон. Лежат коричневые груши боксерских перчаток. А под кроватью хранится штанга, стальные блины к ней, а также отличные разборные гантели.

Порядок в комнате Шурка Дубравин поддерживает с такой педантичностью и аккуратностью, что ему позавидовала бы любая домашняя хозяйка.

В эту весну Шурка, не по годам рослый, широкоплечий, круглолицый подросток с карими, глубоко посаженными глазами, встает рано. Вот и сегодня он не лежит долго в кровати. Только слегка тянется сильным телом и сразу идет умываться к колонке в сад.

В кроне старой, стоящей во дворе ветвистой алычи что-то шуршит. И на плечи ему сверху неожиданно падает мягкий комок. Сердце скатывается в пятки. От ужаса он даже приседает. Но потом подскакивает на месте и отбрасывает от себя кота. Васька, по-видимому, охотился на воробьев и, поленившись спуститься с дерева, прыгнул на плечи хозяину.

– У, чтоб тебя! Напугал до смерти, – бормочет пацан, смахивая остатки сна ледяной водой из-под крана.

Луч солнца робко заиграл, заискрился на снежной шапке далекой Белухи. Порозовели облака на востоке. Темный лес за рекой начал голубеть. Суетливое воронье на тополях у дороги закаркало. В окнах соседних домов вспыхнули огоньки. Захлопали ворота. Хозяйки только выгоняют медлительных коров. А он уже шагает на ферму.

Взбитая тысячами колес, копыт, сапог, мельчайшая, как пудра, дорожная пыль за ночь остыла и сейчас мягким атласом стелется под ногами, облегает холодком его босые ступни. Из предзвездных сумерек показываются длинные, приземистые свежепобеленные корпуса. Построены они еще в эпоху освоения целины, видимо, по образцу американских. Позеленевшая от времени черепица и две островерхие каменные силосные башни по торцам делают их чуть похожими на какие-то средневековые казармы. Внутри этого сооружения уже раздается мычание проснувшихся коров, зычная переключка доярок, звон бидонов и доильных аппаратов.

Он подходит к тяжелым двустворчатым, обветшавшим от времени и непогоды воротам телятника. Отмыкает поржавелый ржавый замок, снимает его. Входит в закуток, где стоит большой деревянный ларь с остро пахнущими комбикормами, а в уголке на свежвыбеленной стене висит рабочая одежда. Быстро переодевается в старые брюки и пиджачок, из рукавов которого смешно торчат тяжелые кисти рук. Работа тяжелая и грязная. Кроме того, все повторяется изо дня в день. И можно просто взвыть. Но Шурка нашел выход. Он не работает. Он играет. Представляет себе, будто участвует в каких-то соревнованиях. Что-то вроде конкурса молодых ковбоев. И поэтому, приходя сюда утром, состязается с воображаемыми противниками. Старается сократить время.

Сейчас он посмотрел на часы, подождал, пока секундная стрелка накроет цифру двенадцать, рванул внутреннюю дверь, побегал по длинному проходу корпуса, по обеим сторонам которого большие клетки из побеленного штакетника.

В ноздри ударяет тяжелый влажный запах. Телята, свернувшись на подстилке, еще спят в клетках. Некоторые лениво жуют сено у кормушек. Ему надо вычистить клетки. Потом вывезти навоз. И принести молоко с фермы. Тяжелая мокрая солома поддается вилам с трудом. Хлюпает в металлический кузов тачки, брызгает ядовито. Обычному пареньку работа явно не по силам. Но Шурка грузит, стараясь вывезти все за один раз. Грузит, напрягаясь так, что сердце выскакивает наружу.

Упаривается. Но позволяет себе только смахнуть рукавом пот со лба и мчится за свежей подстилкой. С вечера скотник Семен привез к воротам кучу золотистой просяной соломы. Широко раскинув руки, чтобы захватить побольше с ходу, он падает на нее. Загребает. Пока несет, остренькие концы соломинок колют грудь. Не обращая внимания на такие мелочи, потрясает сухую подстилку по клетям.

Теперь надо принести две фляги молока для телят.

...Как-то осенью мать уехала в гости к своей старой подруге, а отец – в дальний рейс. Шурке пришлось хозяйничать на ферме одному. В первый день он в школу не пошел – дел оказалось невпроворот. На следующий классная начала допрашивать его. Он заявил в ответ, что и завтра опоздает, мол, работать надо. Втайне Шурка надеялся, что опоздание придется как раз на контрольную по математике.

Утром он неожиданно увидел в проходе бокса трех девчонок из класса, пришедших ему помогать. От смущения Шурка тогда грубо накричал на них.

Он не считал зазорным никакой труд. И даже находил интерес и в этой каторжной работе. Но мальчишеское самолюбие его страдало. Ведь в школе он считался самым начитанным учеником в классе, а здесь ходит с тачкой в руках.

Сейчас, вспоминая этот случай, Шурка подхватывает сразу две фляги, рывком приподнимает их и, покачиваясь, чувствуя, как от тяжести подгибаются ноги, несет. Через десяток метров врезавшиеся в ладони рукояти разгибают затекшие, побелевшие от напряжения пальцы.

– Терпеть! Терпеть! Надо терпеть, – шепчет он, уговаривая себя.

III

Весна в этом году была быстрой. В одну неделю рыжее солнце слизало горячими языками лучей рыхлый потемневший снег с полей. И сразу буйно, яростно вскипели бело-розовым цветом вишневые и яблоневые сады. Теплый, неповторимый дух пробудившейся свежеспаханной черной земли смешался с дурманящим запахом цветов и, окутывая село, будоражил и пьянил все живое. Чувствуя весеннее томление, приливающую силу жизни, начали вить гнезда птицы. После чистых дождей вылезли из дерна на белый свет крепенькие подснежники и пролески. Над полями, насвистывая, носились черными стрелками ласточки и стрижи. Ловили мошкарку.

Сейчас они еще спят. Шурка лежит на сене и думает обо всем и ни о чем. Вернее, он думает о своей семье. Об отце и матери. Об их прошлом. Но так как точно прошлого он не знает, то по обрывкам, по замечаниям постепенно в сознании складывает некую историю. Легенду, которая становится правдой. Правдой для него. Потому что он верит. А излагается она отстраненным рассказом, который он, сам того не замечая, сочиняет сейчас: «В последнюю войну прибил к вдове Марии Турченко раненный в живот, а потому списанный со службы подчистую солдатик из северного города Архангельска. Мария – маленького роста, бойкая, смуглая, похожая на цыганку, черноволосая уральская казачка. Алексей же непомерно длинен, по-северному голубоглаз и светловолос. Кацап – презрительно называла его вся многочисленная родня казачки. Торочили сестры Катька и Дуська: «Брось его, выгони болезного. Мы тебе, знаешь, какого казака найдем!» Ворчали братья Федор и Павел: «Чтоб мы роднились с этим приймаком?!»

Но несладкая вдовья доля – одной растить двух малых. Остался Алексей в станице.

Конец войне. Подоспела засуха. Спасали только кукурузные лепешки. В тот день Мария взяла с тока два початка кукурузы. Видела это соседка. И уже вечером пришел в их придавленный бедою, притихший дом участковый Колокольня: «Собирайся в район!»

«Что ж ей-то идти? – сказал Алексей. – А ребятишки как? Пойду уж я-то».

Дали ему по числу початков, два года. Валил лес в Сибири. Ломил уголек в шахте. Не роптал на судьбу. И выжил. Но никогда не рассказывал о том, что видел.

Мария ждала, билась с жизнью один на один.

Тут и показала себя казачья родня. Старшая сестра Катька за долг забрала со двора у вдовы последние кизяки и кукурузные бодыли, которыми зимой топили печь.

И пришлось бы зимовать в совсем нетопленной хате, да спасибо председателю колхоза – разрешил брать опилки, обрезки и стружку на пилораме. Ходила вдова и в поле. Резала зимой сухой примороженный бурьян на растопку.

Алексей вернулся по весне. Бледный до синевы. Худющий. Одни глаза да уши торчком. До позднего вечера сидел в их покосившейся мазанке, слушал рассказы жены и пришедшего в гости однополчанина, безногого инвалида Кости Бублика.

А наутро встал с лежанки и пошел через улицу в просторный дом – в гости к родственникам. Шел быстро, хмурясь и на ходу размахивая зачугуневшими кулаками.

Мария возилась у печки с горшками, когда запыхавшаяся соседская девчонка бешено забарабанила в дверь: «Теть Марусь! Дядя Алексей Гришку убивает...».

Во дворе у сестры хриплый лай рвущегося с цепи кобеля. На земле зятево окровавленное лицо.

Как она утащила Дубравина, как Христом Богом молила сестру не заявлять – всего и не расскажешь.

На другой день собрали они свои пожитки и пошли на станцию. Длинный Алексей, перегнувшись пополам, толкал перед собой тачку с примусом, табуретом, чугунами и прочим нехитрым скарбом. Чуть позади Мария несла на руках младшего, Мишку. За ее подол дер-

жался, перебирал, как гусенок, босыми лапками Иван. Старшенькая Зойка помогала отчиму – сбоку подталкивала тачку.

Сороками трещали бабы на улице. Пацанята высовывались из-за ворот, показывали вслед младшим Дубравиным языки. С ненавистью целил разбитым, почерневшим глазом в сутулую, с выпятившимися лопатками, спину Дубравина свояк Гришка.

Сестры Марии на улицу не вышли, застыдились.

Ушли из станицы они навсегда.

Осели в Северном Казахстане, в совхозе. Алексей пошел в совхозную кузню молотобойцем. Мария стала работать дояркой.

Через много лет родился у них еще один сын. Поскребыш. Отцов любимчик Шурка. Однако в тот же год утонул, купаясь в речке, Мишка.

Алексей сам выстругал и сбил ему гроб. Сам выкопал в уголке тихого затравившего деревенского кладбища могилку. А когда похоронили, остались вдвоем с Марией у маленького холмика, Алексей сказал:

– Значит, укоренились на этой земле. Своя могила есть. Тут и будем жить.

* * *

Шурка очнулся от забытья только тогда, когда Джуля, шутя, хватанул его за ногу.

– Бог мой! – театрально воскликнул он и оглянулся вокруг. Стадо разбрелось. Солнце высоко.

Крикнул собаке:

– Айда домой! Собирай телят! А то в школу опоздаю!

IV

И сказал змей эсене: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы впустите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло...» И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковые листья, и сделали себе опоясания.

Ветхий Завет. Первая книга Моисея. Бытие. Гл. 3

Тропинка в школу бежит через лесок. Скользит по узенькому деревянному мостику над ленивой речкой. Ведет прямо к стоящему в окружении мелколеся могучему, кряжистому дубу. Зимой жесткая кора этого коричневатого-черного тяжелого дерева казалась Шурке каменной, а само оно – литым из металла. Сейчас прямо через эту жесткую кору пробились нежно-зеленые мягкие листочки. К осени они тоже станут жесткими, словно вырезанными из коричневой жести. А рядом с дубом упадут лаковые, тускло-блестящие тупоносые желуди. Потом это великолепие накроет снег. А будущей весной все повторится. Сквозь прелую сухую прошлогоднюю листву снова будут пробиваться к свету тоненькие зеленые стрелки.

Вечный круговорот. И только человеку кажется, что он единственный и неповторимый, а его жизнь первая на этой Земле.

Вот и школа. Краснокирпичная, светлооконная, двухэтажная. Около крыльца растут елочки, туи, кусты опрятно подстриженной пахучей сирени.

Еще издали Дубравин слышит прерывистое треньканье неисправного электрического звонка. Бежит и, прыгая на крыльце через две ступеньки, влетает в гулкий, быстро пустеющий коридор.

Урок начинается с разбора контрольной работы. Длинная сухопарая Людмила Израйловна, сердито посверкивая на учеников круглыми очками, постукивая по столу карандашом, долго и язвительно говорит. Разбирает недостатки контрольных, сданных «бестолковыми».

Шурка Дубравин попал в «бестолковые» по математике в пятом классе, когда изучал дроби. В примерах и задачах на уроках фигурировали то яблоки, то груши. Он и видел перед собой пахучие краснобокие яблоки, а не цифры. Так и не смог освоить тогда, что мешок яблок можно представить как единицу и разложить его в виде дробей. А механически зубрить не умел и не хотел. И вот теперь, когда его вызывали к доске, цепенел от злых глаз Людмилы Израйловны, внутренне сжимался от ее пронзительного голоса. Ждал только, когда все закончится. Поставят очередную двойку или тройку.

Но в конце концов все улаживалось. Помогал в этом и директор школы. Он вел у них историю. А Шурка не только знал, к примеру, сколько весили доспехи Карла Бургундского, но и мог процитировать приказ Петра I перед Полтавской битвой.

Однако, как бы там ни было, а прошлой контрольной Дубравин не решил. И поэтому напряженно следит за движением остро отточенного карандаша в руке учительницы. Он кожей чувствует, как глаза Людмилы Израйловны перебегают с фамилии на фамилию, просматривают оценки, как лихорадочно она прикидывает, у кого на сегодня положение самое плачевное.

– Шелкопряд! К доске! – наконец торжественно произносит она.

Весь класс облегченно вздыхает.

Теперь сидящие за первыми партами будут подсказывать. А остальные займутся своими делами.

К Дубравину вернулось боковое зрение. Сосед Витя Тобилов достает какую-то географическую книгу. Впереди Колька Забелов и Миша Самохин снова играют в морской бой.

А у доски уже разыгрывается обычная педагогическая драма. Измученная жизнью и непониманием ученика, склонившись, как вопросительный знак, Людмила Израйловна крас-

неет пятнами от шеи к подбородку и кричит маленькой, нескладной, какой-то угнетенной жизнью Галке Шелкопряд:

– Нет! Не-е-е-т! Зачем тебе учиться, если ты не можешь простого уравнения составить? Ну откуда ты такая? А? Ты учила? Я тебя спрашиваю? Учила? Да отвечай же! Что ты шепчешь?

– У-ч-ч-ч-и-ла, – тянет в ответ Галка со слезами на глазах.

«И что она кричит? Господи, когда этот треклятый урок кончится, – переживает и за учительницу, и за себя, и за несчастную Галку Дубравин. – Поставила бы двойку – и дело с концом. И зачем себя и окружающих терзать... Если у тебя нелады дома, если ты больная, если нас тихо ненавидишь – брось работу! Живи и радуйся... Освободись от непосильного груза...»

Сзади толкнули в плечо. Он протягивает ладонь, не оборачиваясь. Пришла почта. В ладонь кладут разлинованный в полоску листок с подписью: «Сане».

Осторожно разворачивает записку внизу под партой. Сосед Тобица тоже склоняет свое румяное пухлогубое личико, хочет подсмотреть, что пишут Дубравину. Но Шурка, заметив маневр, отталкивает его плечом и показывает под столом свой увесистый кулак.

Пишет Людмила: «Саша! Давай с тобой дружить».

Дубравин с некоторым разочарованием прочитывает еще раз, рвет записку, остатки кладет в карман. Вырывает из тетради чистый листок и размашисто пишет: «Надо уроки учить!»

Оглянувшись по сторонам, соображает, как удобнее доставить ответ. Но передавать не рискует, а ловко бросает записку через ряд прямо Людмиле на стол и отворачивается.

Уже не первый раз приходят к нему такие записки. И вообще, что-то странное в отношениях с девчонками началось еще прошлым летом. Тогда многие из них изменились просто на глазах. И внешне, и внутренне. Валентина Косорукова уж на что была «свой парень»: в футбол ли играть, прыгать ли с дерева через речку. Сейчас притихла и как-то странно смотрит на него при встречах. Все они уединяются, о чем-то шепчутся. То и дело слышно: лодочки, лацкан, оборочки.

Некоторые пацаны тоже дуреют. Второгодник Коля Рябухин зимой принес журнал на иностранном языке и стал показывать на перемене. Все парни сбились в кучу возле него. Хихикали, краснели. Шурка подошел. Заглянул через плечи. Он до сих пор помнит то потрясение – ослепительно белое женское тело на зеленой траве.

На этой неделе среди мужской половины класса начало ходить по рукам некое сочинение под названием «Лекции профессора Григорьева». Сосед Витя Тобицов на перемене взял его почитать. И сейчас вытащил на парту. Дубравин скашивает глаза и начинает выхватывать строчки: «Если юноша любит девушку, то он кладет ей руки на колени», «Дружбу надо закрепить один раз», «Девушки делятся на горячих, средних и холодных», «Горячие любят...».

Странно, еще год назад эта писанина оставила бы его абсолютно равнодушным, а сейчас так взволновала, что Шурка почувствовал сначала озноб, а затем его бросило в жар. Сердце заколотилось, ладони вспотели.

Он, как пойманный на месте преступления, оторвался от чтения и оглянулся по сторонам. Не видит ли кто, что с ним происходит.

Весь класс занят своими делами.

Тобицов, заметив его интерес, подвинул рукопись к середине парты. И они оба погрузились в рекомендации какого-то явного самозванца, сочинившего этот опус, в котором женщины делились на какие-то невиданные типы: «королек, березаки». И требовали от мужчин невиданных сексуальных подвигов.

Звонок на перемену застал его в полном смятении чувств. Голова кружилась. Какой-то дикий огонь разгорался внизу живота. Пришлось держать руки в карманах.

Возбужденный, он вышел в коридор, где народ затеял игру в самолеты. Пацаны носились по коридору, расставив руки-крылья, и налетали друг на друга.

«Тяжелый бомбардировщик» Славка Подколодный с разбега ударил плечом в Шуркин «истребитель». Дубравин, который не пришел в себя от прочитанного, не напрягся, не отреагировал, а споткнулся и завалился боком на пол.

В тот момент, когда он начал подниматься, из класса вышла кудрявая голубоглазая Катенька Гельд. Шурка смотрел на нее снизу вверх и не узнавал. Коротенькая коричневая юбочка школьной формы облегла округлившиеся налитые колени. Под белой блузкой явно угадывались выпуклости груди. И вообще уже не было прежней Катьки, которую можно было дернуть за косу, подразнить. Перед ним было совершенно другое существо. Женщина!

Он медленно поднимается с пола. И чувствует, что в этот миг что-то изменилось в нем самом. Что смотрит на мир абсолютно по-другому, нежели всего минуту тому назад. Он смотрит на девчонок и видит их новые прически, их колготки, их лица. Потрясение так велико, что Дубравин не может ни о чем говорить, ни с кем видаться. Молча идет в класс. Там садится за парту и пытается разобраться, что же произошло.

В тот миг он не понимает, что отныне вся его жизнь, как и жизнь каждого мужчины, так или иначе невидимой нитью будет связана с женщинами. Что они во многом станут его судьбой, его судьями, его любовью.

V

Все сидят в Шуркиной комнате полукругом.

В кресле комфортно устроился, закинув ногу на ногу, Толик Казаков. Сухощавый, черноглазый, с волосами жесткими и черными, как вороново крыло. Он красив. И даже чуть курносый нос не портит этого впечатления, как бывает у вполне красивых людей.

Стремительный, быстрый в движениях Казаков в любой одежде выглядит столь изящно, что Дубравин и Франк рядом с ним кажутся простыми и грубоватыми. Он самолюбив, остроумен, находчив и очень общителен. Любые игры – баскетбол, футбол, теннис – осваивает чрезвычайно быстро. И везде первый.

Род его из оренбургских казаков. Дед, восьмидесятилетний сухой старик, каким-то чудом ухитрившийся сохранить выправку и крепость рук, живет в станице. Он сам по секрету рассказывал внуку, как служил в лейб-гвардии казачьем полку и состоял в охранной сотне последнего российского царя.

Отец работает в совхозе шофером. И крепко пьет. А когда в пьяном виде дебоширит, вся семья прячется кто куда.

Мать, маленькая худенькая женщина, рано постарела из-за постоянных свар в семье. Она никогда не работала на производстве, а возилась по дому, занимаясь детьми.

Толик, как и все остальные ребята, много занимается хозяйством: косит траву кроликам, чистит в сарае навоз, работает в саду. Часто меняет свои увлечения. Хорошо фотографирует старенькой «Сменой», учится играть на трубе в совхозном духовом оркестре. И имеет «умные руки». Без конца он что-то паяет, перепаяивает, собирает из радиодеталей. Недавно создал себе, Андрею, Шурке маленькие радиопередатчики. И они какое-то время держали связь с помощью радио, хотя и жили не слишком далеко. Но у Шурки передатчик вскоре пришел в негодность, а у Андрея его отобрали, обвинив в радиохулиганстве.

Казаков несокрушимо верит, что наступила эра кибернетики, радиотехники и других технических чудес. Верит, что именно они создадут новый, совершенно непохожий на сегодняшний, мир.

Председатель собрания – Дубравин. Внешне он – полная противоположность Казакову. Рослый, лицо простое, русское, округлое, глаза карие.

Вообще, уродился парень, как говорится, ни в мать, ни в отца...

Рос худым, бледным, хилым ребенком. Мать, сравнивая его со старшими детьми, частенько говаривала: «Не работник! И жить-то как будет? Ну, Иван, тот бугаек и без грамоты проживет. А этому что делать? Ведь хилый-хилый. Видно, учиться придется». А недавно нервный, впечатлительный, застенчивый и тем похожий на девочку мальчишка так попер в рост, что уже сегодня почти сравнялся с отцом. Если Алексей суховат, то младший сын широк в плечах. На крепкой, развитой упражнением со штангой груди уже сейчас лежат две круглые плиты мускулов, на руках ходят буграми бицепсы.

Характер у младшего Дубравина в последнее время тоже стал резко меняться. Парень все чаще молчит, задумывается. То и дело хмурит густеющие брови. И как будто дичится в семье.

Третий в этой компании – Андрей Франк. Он в отличие от Толика и Шурки невысокого роста. Поджарый, гибкий, как гимнаст. Лицо у него тонкое, чистое, узкое. Чисты и светло-серые бесхитростные глаза. По странному капризу судьбы друзья зовут его Рыжик, хотя волосы у него прямые и русые. Но он не обижается. Его страсть – фотография. Днями и ночами пропадает он в своей лаборатории. Его добродушная терпеливость преодолевает все: и комаров, и утренний холод, и неудачи.

Родители Андрея из Поволжья. И по деревенским понятиям интеллигенты. Отец работает старшим бухгалтером, а мать, красивая, черноволосая и черноглазая, хорошо сохранив-

шаяся улыбчивая женщина, занимается дома с тремя детьми. Живут они в небольшой квартире. Так же, как и все, держат кур, гусей, огород. Это и понятно. На зарплату отца впятером тянуть непросто.

Четвертый – Амантай Турекулов. Он младше всех на год. И непонятно, как подружился с этими тремя. Худой, как жердь, но жилистый. С плечами, словно вешалка. Он ходит всегда, наклонив голову набок, приподняв плечи и держа руки в карманах. Узкое, со впалыми щеками лицо его выражает постоянное сомнение и готовность обидеться. Так получилось, что все учат его жить. А он обижается. «Да ну вас!» – обычно говорит он, отбрасывая кивком головы падающую на глаза черную челку, сверкает узкими черными глазами и поворачивается к «обидчикам» спиной.

Сложилась эта компания недавно. И складывалась достаточно странно. Шурка Дубравин до того, как окончательно разошелся с ребятами со своей улицы, долго был вожаком на «Бараке».

Пока однажды не случилось вот что...

...Жил-был принц. И у него, как и у всех, были мама и папа. Рано утром они уходили на работу, а он шел играть на улицу.

Однажды маленький принц взял шпагу, заломил берет, воткнул в него перо и пошел во двор крепости.

Крепость была старинная. Ее охраняли часовые. Принц пошел прямо к воротам. И спросил стоявшего на посту солдата:

– Ну что? Как прошла ночь? Не подкрадываются ли враги?

Солдат отставил ружье, молодежато приложил два пальца к треуголке и звонко ответил:

– Никак нет, ваше высочество! Противник еще спит и видит седьмой сон.

– Жаль! А то бы мы им поддали бы! – задумчиво ответил маленький принц и пошел обратно, составлять устав караульной службы для своих войск.

Дома он сел за стол и написал: «Пункт первый. Караульный обязан нести службу круглосуточно» – потом подумал: «Нет, мамы их не отпустят стоять ночью на часах. А как же быть?»

И вообще в последнее время что-то разладилось в их игре. Война закончилась, солдатам скучно. И уже было несколько случаев, когда они уходили с поста. Да и выйдут ли они сегодня на смену стоящему сейчас на часах Лехе Пасечнику? Кто знает... Вчера Ванька сбежал под предлогом, что его мать зовет обедать, а Петька нагло заявил, что он уходит в сад за яблоками.

За окном раздался отчаянный крик:

– Стой! – и следом: – На помощь!

Принц выскочил на улицу и увидел безобразную сцену: здоровенный «дезертир» Петька Бесмельцев нападал на маленького, тщедушного часового Леху Пасечника. Он схватил огромную ветвистую палку и тыкал ею в лицо часового, изображая фехтование. Леха отчаянно махал шпагой и, отступая, верещал на всю округу:

– На помощь! Напали!

Ярость и обида волной кипящей и все смывающей поднялись в душе маленького принца: «Мало того что сам ушел, так еще и издевается над его армией!».

Широкий, огромный, красочный мир, в котором жил Шурка, вдруг поблек, блестящая золотая шпага превратилась в палку, бравый солдат – в жалкого плачущего мальчишку в сбитой набок газетной треуголке. Замок вмиг обернулся обшарпанным бараком, а сам он из блистательного принца превратился в обычного пацана с ободранной коленкой и синяками на руках.

Он выскочил на улицу. Схватил попавшуюся под руку винтовку часового, ринулся на врага. Подскочил и два раза так хватил Петьку по толстому хребту, что приклад игрушечного ружья раскололся.

Бесмельцев в страхе бросил палку. В его круглых глазах вспыхнул ужас перед этой необузданной яростью. Губы задрожали. Длинные руки опустились.

И... неожиданно он заплакал...

С этого случая «армия» распалась. Любовь и восхищение бывших друзей и приятелей вдруг обратились в неприкрытую ненависть. Если раньше Шурка объединял компанию в игре, смехе, дальних походах, то новый вожак в ней нашел и новый мотив. Колька Островков, тощий, жилистый, с каким-то ядовитым блеском в глазах, не обладал ни богатой фантазией, ни острым умом. А чтобы чувствовать себя объединенными, они должны были кого-то ненавидеть. И Колька направлял. Они ненавидели его, маленького принца. Тихой, трусливой ненавистью, которую подогревали не только Колькины речи о «психическом, чуть не убившем Петьку», но и их собственный страх, и чувство вины за свое предательство.

Предатели всегда чувствуют свою вину и от этого ненавидят тех, кого предали.

– Психический! Психический! Не туда мама руку пришила! – кричали они, издав завидев его.

Может, они ждали, что он испугается, спрячется дома, перестанет выходить на улицу. Не понимали: и его, и их незримой нитью связывало обоюдное чувство. Он тоже ненавидел их до боли в зубах.

День за днем продолжалась эта игра во взаимные оскорбления. В ответ на их выкрики он издевался:

– Сосунки! Бабы трусливые! Предатели! Выходи один на один!

Страх, что придется драться с целой толпой, только возбуждал и подстегивал жажду мести, заставлял испытывать сладостное чувство риска, полноты жизни.

В тот день он, сжимая до боли потными ладонями рукоятки велосипеда, крутился неподалеку от них. А они строили плотину на ручейке, образовавшемся после дождя. Когда он в очередной раз проезжал мимо них и специально задел колесом лежавшую рядом с ними консервную банку с «раствором» – жидкой грязью, – они бросились на него.

Кинулись яростно, неожиданно. Впятером схватили велосипед. Повалили на землю вместе с ним.

Шурка оказался сразу во власти десятка беспощадных рук. Он бился, изворачивался на земле, пытался встать. Мысли неслись обрывками: «Гады... Только бы встать... Предатели...».

Когда почувствовал, что кто-то два раза ударил его камнем по голове, вдруг зарычал в неистовстве от собственного бессилия и так бешено рванулся, что вмиг оказался на ногах. И сразу закрутился на месте, ища глазами кирпич поувесистее.

Видно, что-то настолько безумное, пугающее было в его лице в этот миг, что пацаны бросились наутек.

Со свинцово-тяжким серым булыжником в руках он настиг их у ворот дома, где они стояли, едва очнувшиеся от пережитого ужаса.

Сладкая волна бешенства несла его к огромным зеленым воротам, у которых робко сбились в кучу его бывшие приятели. Он уже кончиками пальцев чувствовал, как камень ударит Кольку в грудь, а потом он будет рвать его горло... Ему бы только добраться...

И они поняли это. Порхнули, как воробьи стайкой, в ворота и затаились в доме.

А он бушевал снаружи. Бил камнем в ворота и кричал, задыхаясь от неутоленной ненависти:

– Трусы, выходите! Ваша смерть пришла!

Но в запертом доме притихли и молчали...

Такая вот история.

* * *

А с Толиком Казаковым все не закончилось, а началось со стычек.

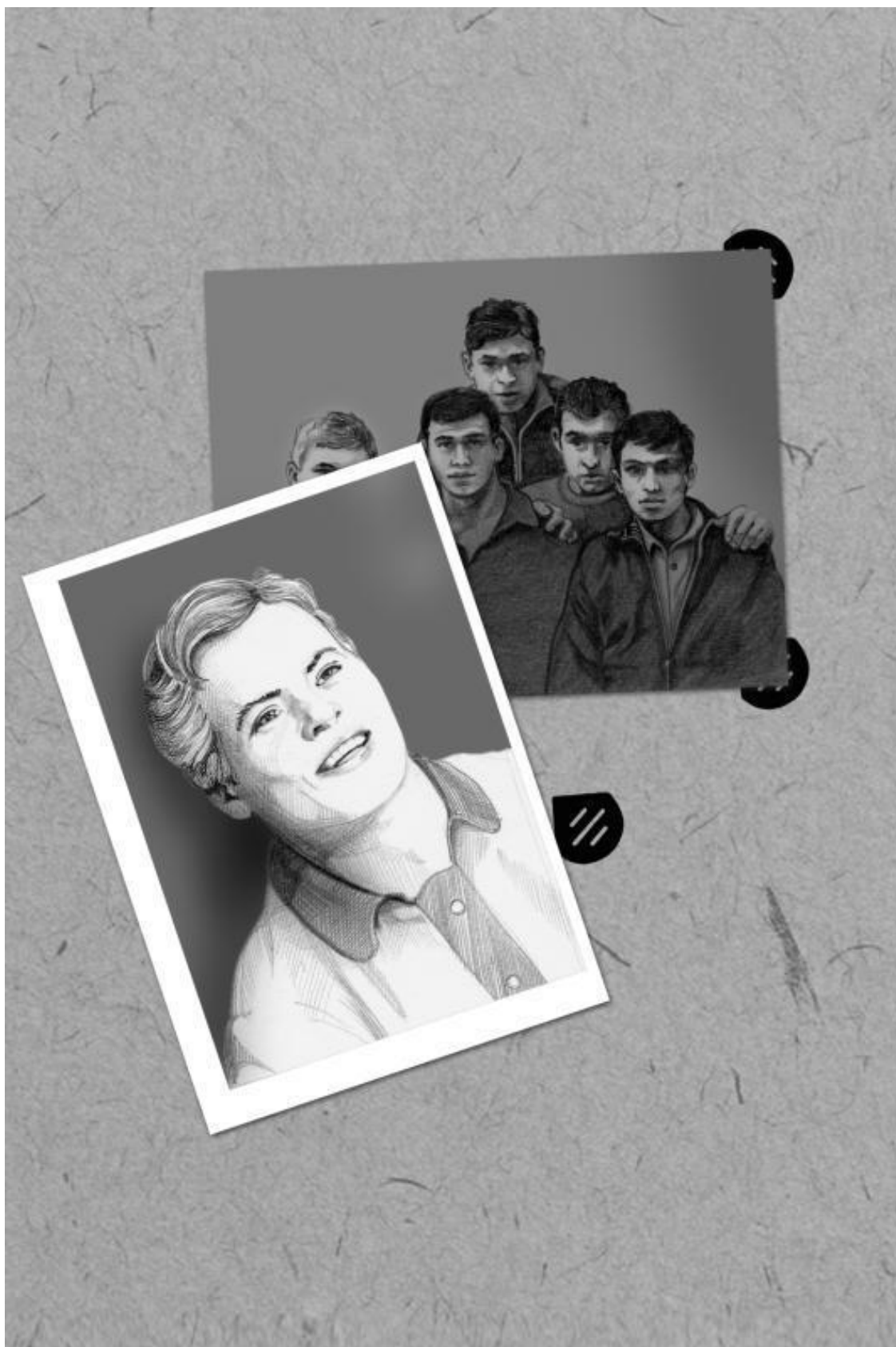
Казаков верховодил на «Центре». Между этими двумя районами шли в то время постоянные войны. Естественно, вожди разных партий то и дело выясняли отношения друг с другом. Стычки обычно начинались по дороге из школы. Предварительно кто-то из «доброжелателей» говорил Шурке, что вчера о нем непочтительно отзывался его конкурент с «Центра».

Дальше все шло по накатанной схеме. Дубравин встречался с Казаковым где-нибудь на тропинке в лесу и начинал разговор так:

– Ты про меня сказал, что я дурак? Повтори сейчас при мне эти слова или проси прощения.

– А ты кто такой?! – слышал он в ответ. – Молоко еще на губах не обсохло, чтобы со мной так говорить!

– Ах так! – чтобы начать драку, Шурка резким движением натягивал Казаку кепку на глаза. Не вынеся оскорбления, тот бросался на врага. Через минуту они уже катались на земле, сопя и выкрикивая ругательства. Дрались до тех пор, пока их не растаскивали прохожие или одноклассники.



Но с тех пор они поумнели, а когда Шурка «разошелся» с «Бараком» и переехал в свой дом, эти двое вдруг обнаружили в себе что-то общее. И главным, пожалуй, было то, что Дубравин и Казаков отличались от остальных деревенских своими интересами. Хотели какой-то другой жизни.

Потом к ним примкнули и прочие парни.

Сегодня четверка собралась в доме у Шурки по торжественному поводу, а посему все одеты в белые рубашки. У каждого к вороту миниатюрной шпагой, сделанной из иголки, приколот значок, изображающий латинскую букву «L».

В общем-то, это компания простых деревенских ребят. Но ведут они себя для такого сборища достаточно странно: во-первых, обращаются друг к другу с выражением важности на лице, во-вторых, играют какую-то роль.

А все дело в том, что еще прошлым летом, когда из Москвы приезжал Шуркин двоюродный брат, у ребят возникла идея объединиться в некое тайное сообщество. Они придумали объединению туманное и таинственное название «Лотос». Разработали устав. Дубравин как начинающий поэт написал слова гимна, и они распевают его на мотив популярной мелодии «Иглз» «Дом восходящего солнца». Ведется дневник, куда записываются достойные внимания события. Есть и казна. Каждый член команды вносит в нее ежемесячно по рублю. Деньги уходят на покупку боксерских перчаток, гантелей, эспандеров.

Есть в этом начинании что-то по-детски наивное. Но главное – в нем есть стремление к иной, более осмысленной и красивой жизни, желание выделиться из одноликой серой массы. А дневники, значки, тайные собрания играют в этом деле немалую роль.

Сейчас Толик Казаков включает магнитофонную приставку. И льется всем до боли родная и знакомая мелодия. Правда, все ребята подпевают совершенно другие, русские странные слова:

Мы общество «Лотос» создали,
Решили мы им подражать.
И главным законом избрали —
Девчонок с собою не брать.
Мечтаем наукой заняться,
Спортсменами думаем стать.
И рыцарями без упрека
Вы можете нас называть...

Когда отзвучали последние аккорды, Дубравин официальным голосом объявляет:

– Мы собрались сегодня, чтобы обсудить следующий вопрос. Состоит он в том, что в наше общество хочет влиться еще один человек. Это Володя Озеров. Он скоро должен подойти. Нам надо решить, принимаем ли мы его.

– Надо дождаться его самого, – возражает Казаков, – тогда и будем обсуждать кандидатуру. А то получается, что мы вроде за глаза о нем говорим. Кстати, сегодня у меня спрашивал о нашей команде Тобикив. Значит, какие-то слухи, домыслы ходят по школе. Сначала увидел у меня значок и стал просить, а потом заявил, будто знает, что означает эта буква. Может, предложить и ему вступить?

– Да нет, ребята! – возражает Андрей. – Тобикив не тот человек. Хоть он и учится с нами, но он еще не вышел из детства. Пай-мальчик. Короче, маменькин сынок. Я против.

– Согласен, – замечает Шурка. – Не личность. Но хотелось бы знать, кто проболтался о нашей команде?

При этих словах он оборачивается и пристально смотрит на Амантая Турекулова.

– А че вы на меня смотрите? – сразу обижается тот. – Я тут при чем?

– Ладно, Аманчик, ты не обижайся, – говорит Шурка. – Это нас всех касается. Надо поменьше болтать.

– По-моему, Вовуля свистит, – услышав раздавшийся за окном знакомый сигнал, замечает Толик. – Пойду его впусу.

Через минуту приедетый, как на торжество, тоненький, беленький, пухлощекий и немного лопухий Володя Озеров осторожно присаживается на тахте.

Шурка, понимающий торжественность момента, старательно играет возложенную на него роль председателя.

– К нам в общество обратился с просьбой принять его Владимир Озеров. Прошу всех присутствующих высказаться по этому поводу!

После его слов воцаряется общее молчание.

– Вова – пацан думающий, – разрывая неловкость, первым берет слово Андрей. – Это для нас важно. Хотя он моложе нас всех, но уже понимает, что стать человеком непросто.

– Имеет серьезные интересы и увлечения, – перелистывая дневник команды в поисках последней записи, добавляет Шурка. – Музыкой занимается. Мы давно его знаем, что тут говорить попусту.

– Конечно, знаем! – живо откликается Толик Казаков.

– Потому и должны обсудить все его достоинства и недостатки. А не повторять одно и то же, как на комсомольском собрании. У него тоже уйма недостатков, есть еще ребячество. Забыли, как он на Седьмое ноября из снайпера по шарам стрелял? А потом бегал по толпе демонстрантов, толкался...

Бедный Вовуля, сидевший как на иголках, весь от волнения покрывается испариной. Он смотрит на окружающих, как будто не узнавая их, хотя это свои, с детства знакомые ребята.

Еще не отошедший от обиды Амантай добавляет:

– И обзывать он любит. Если что не нравится, начинает орать: «Сука! Козел!» Может, это он и рассказал про нас Тобикову, про команду. А вы на меня подумали...

– А ты что мне сказал! – взвизывает на тахте Вовуля. – Ты мне... сказал... ты... да я...

– Да, видно, рано его принимать, – подливает масла в огонь Толик. – Выдержки нет.

– Стой, ребята! – вмешивается председатель. – Мы все не без греха. Давайте все-таки объективнее будем подходить. Здесь не базар. Здесь высокое собрание. Все, все, мы знаем. Давайте проголосуем. Да кончайте вы обзывать! Ну вы и кабаны! Тихо! Стой! Кончай базар!

– Я думаю, раз пошло такое некорректное обсуждение, вопрос надо отложить, – снова подает голос Казаков.

После его реплики крикуны притихают. Никто не ожидал такого поворота событий.

Шурка замечает, что Озеров побледнел, и говорит:

– Голосовать! Кто за то, чтобы принять Владимира Озерова в члены общества «Лотос», прошу поднять руки.

– Все за! При одном воздержавшемся.

Пока счастливый Вовуля с какой-то мальчишеской радостью на лице прикалывает миниатюрной шпагой значок к воротнику, народ в лице Дубравина повторяет ему принципы «Лотоса»:

– Стать воспитанными людьми. Это непросто. Надо заниматься собой: читать, мыслить, организовывать свой отдых, обмениваться с другими членами клуба идеями. Все решаем сообща. Это наше кредо.

– Вот ты в музыкальную ходишь, – берет инициативу на себя Толик Казаков. – Ну и сделай нам доклад о жизни какого-нибудь великого музыканта, чтобы мы знали. Сделаешь?

– Не знаю, – ошеломленный, всем вместе растерянно отвечает Вовуля.

За окном раздается звук мотора подъезжающего грузовика.

Через минуту слышен требовательный голос матери:

– Шу-у-у-ур-и-ик!

Дубравин идет на выход, досадуя, что его оторвали от важного дела:

– Ну, началось. Подождите меня. Я сейчас.

Оказывается, мать хочет, чтобы он поднял на чердак дома мешок с кормами. Недовольный Шурка зло замечает матери:

– Опять у этих алкашей купили ворованные корма?!

Вся деревня тащит с полей и ферм все, что можно утащить. Но он, живший здесь всю жизнь, так и не привык к этому. Стыдится.

Мать, уловив в его словах раздражение, смотрит на него исподлобья, поправляет узловатыми натруженными руками платок, сбившийся набок, и говорит раздумчиво:

– Вот ты как поворачиваешь? То молчишь, молчишь, а то высказался, сынок. Спасибо. Значит, корма таскать тебе не нравится. А есть курочек, которые на этих кормах растут, любишь?

– А ну вас! – машет рукой Шурка, показывая, что с ней бесполезно разговаривать. Со злостью хватает ни в чем не виноватый мешок за торчащие углы, резко кидает его на правое плечо и несет к приставной лестнице, ведущей на чердачное окно.

VI

Анатолий командует:

– Пошли! Пошли по кругу! За мной! Раз, два! Раз, два!

Молодые, загорелые, мускулистые, они мчатся по поляне один за другим. И будто здесь, в зеленом пушистом лесу, крутится песчаный степной, все уносящий на своем пути вихрь. Это своеобразное движение – то ли боевой танец горцев, то ли ритуальная пляска дикарей, выходящих на тропу войны. Они несутся по кругу один за другим. Вдруг резко падают наземь на руки. Отжимаются. Потом начинают отплясывать гопака вприсядку.

Через десять минут вся компания взмокла.

Идет разминка.

Но тот, кто командует, не сбавляет темпа.

– Давай-давай! Пляши, башка, пляши! Вовуля, не отставай! Терпи! – покрикивает он. – Пошли с песней, братки! Включай магнитофон!

И жаждущие физического совершенства подростки скачут, прыгают, как черти на сковороде. С воплями мнут друг другу бока, кувыркаются на поляне.

Ах, это жизнь, а не дрема и скука!

– Теперь разбились на пары! Начинаем изучать приемы. Вас якобы берут за горло. Что вы делаете в таком случае?

– Хватаешь за кисть нападающего двумя руками! И поворачиваешь ее внутрь, как нарисовано в учебнике! Показываю... И-и-и раз!

– Ай! Ой-ой-ой! Ты мне руку поломал, тренер хреновый! Ща по усам...

– Я ж говорю, получается. Ну что ты делаешь? Бери его за яблочко! За яблочко, за яблочко хватай!

– Теперь мы с Шуриком попробуем боксировать, а остальные тренируются в индивидуальном порядке. Вовуля, Андрей, Амантай, сбегайте за штангой, гантелями, эспандером. Они там, в тайнике сложены.

Трое немедленно скрываются в окружающих поляну кустах. И через несколько минут, пыхтя и задевая плечами за ветки деревьев, растущих у тропы, тащат стальные блины от штанги.

Небольшая, аккуратно очищенная от сухого бурьяна, выровненная руками ребят поляна вмиг превращается в спортзал. Спортзал, где стены – стройные клены со строгими, словно вырезанными искусной рукой художника, новенькими сочно-зелеными листочками. Крыша – небо. А свет дает наше общее светило.

Парни достают вырезку из журнала. И как зачарованные, принимают разглядывать фотографии могучих культуристов, их рельефные мускулы.

Шурка Дубравин надевает плотные, густо пахнущие кожей, похожие на большие коричневые груши перчатки. Он ощущает свои ставшие огромными кулаки и чувствует себя прямо таки могучим и чрезвычайно сильным бойцом. Так бы прямо и вдарил. И любого свалил. На самом деле движения его в этих перчатках неловки. И ему, как ребенку, надо всему учиться заново: ходить по-особому, косолапо, наносить удар без размаха, всем корпусом, уклоняться.

Шаг вперед – два назад. Удар с шагом назад. Удар наступая. Удар отступая. Бегут минуты тренировок.

Пот заливает лицо. Красные пятна от ударов алеют на плечах, груди, скулах.

– Как бьешь? Как бьешь? – хрипит Толик. – С вывертом надо. А ты lupишь шнуровкой по носу, кожу содрал...

– Сам ты шнурок, – закрывая скулу, глухо сопит Шурка.

– Тоже мне специалист! В учебник глянь сначала.

– Пошли вперед. Отрабатываем слитное движение. Я – шаг вперед, ты – шаг назад. Еще раз через всю площадку.

А в тенечке, где расположились остальные, возятся потихонечку со штангой, гантелями. Идет бойкая дискуссия.

– Мускул надо качать!

– Да не! Не мускул надо качать, а ловкость вырабатывать. Я в городе на майские такое видел, – морща нос, говорит Андрей. – Мужики подпили – и давай выступать. Прицепились к одному парню: не так стоишь, мол. И тут же хотели его замочить. А что вышло? Машут руками, как граблями. А он – раз-раз! – уклонился, под руками у них прошел. Одному как врезал! Тот с копыт! А ты говоришь: мускулы!.. Амантай, ты че делаешь? Че не качаешься?

– Мне брат книгу привез, хатха-йога называется. Тут вообще отпад! Говоришь, например, своей печени: «Печень, печень, надо хорошо работать».

– Ой, умора! Разве так бывает?

– Бывает. Смотри, как делается, – Амантай, кряхтя, садится в позу лотоса. Пытается загнуть ногу за ногу. Нога соскальзывает.

– Ну-ка, помогите!

Андрей подскакивает, прилаживает.

Наконец, устроившись на травке, Амантай, как в трансе, закрывает глаза и начинает бормотать заклинания. Раскачиваясь на месте, повторяет раз за разом:

– Печень, печень. Ты умная, ты должна работать хорошо...

Шурка и Толик останавливаются. Их кожа блестит от пота. Они еле переводят дыхание и прислушиваются к его бормотанию.

А Андрей тем временем взывает:

– О сердце мое! Дай мне знак, что ты меня слышишь!

В этот момент на другом конце поляны раздается громкий звук.

И Вовуля невозмутимо заявляет:

– Мое сердце уже откликнулось!

Все хохочут.

– Куча мала! – неожиданно орет Амантай и из позы лотоса стремительно бросается на Вовулю. Они падают. Сверху на них прыгает Франк. А затем не выдерживают Шурка и Толик.

Шум, гам, смех, вопли, барахтающаяся куча тел. Везде царит чувство физической радости. Бежит кровь по жилам.

И чего только ни сделаешь ради славы... Не только йогой займешься. Скажут: «Землю ешь – прославишься». Будешь есть.

VII

Шурка спал в саду.

Сон был ярче, чем жизнь, и никак не хотел кончаться. Душа то бродила в сумерках среди страхов, то взлетала в ликовании. Когда пришло очередное чудовище и принялось высасывать из него жизнь, он вынырнул из омута и открыл глаза.

В темноте прямо над лицом качалась черная ветка с черными жесткими листками и неожиданно светлыми звездочками вишневых цветков. По деревьям, перескакивая с листа на листок, с ветки на ветку, бежал прохладный утренний ветерок. На лицо упал сорванный им лепесток. Шурка положил его в рот, куснул и почувствовал на зубах сладковатую упругую мягкость.

– Ох-хо-хо! – простонал он и снова стал закрывать глаза, поддаваясь сладкой дремоте.

Во дворе загоготали гуси. Что-то будто толкнуло в сердце. Он открыл глаза. И увидел небо.

Аспидно-черное, бархатное. Крупные яркие звезды на Млечном Пути. Но почему-то сегодня они были не где-то там, далеко-далеко, а, холодные и спокойные, манили и дразнили его своей близостью. Шурке казалось, что если чуть-чуть напрячься, то именно сейчас ему откроется какая-то великая тайна. Смысл всего сущего на Земле. Он старался внутренне сосредоточиться, поймать эту мысль. И вдруг почувствовал, как земля под ним качнулась, поплыла через это темное небо навстречу звездам. А свет их – ровный, яркий, неугасимый – пронизывал темноту ночи и лился в его раскрытое сердце. Еще мгновение – и мир откроется в своей истинной сущности.

Каким-то внутренним усилием он отделился от своего тела и полетел, покачиваясь, как в лодке. «Я сам Земля! Я сам этот сад», – мелькнуло в голове. «Но где я?» – испугался вдруг он. И обнаружил себя лежащим внизу в саду. Страх разом смыл радость полета. Страх бросил его обратно в тело.

Тайна исчезла. Очарование обернулось горечью: «Никогда, никогда не быть мне на звездах. Никогда мне не набрать в горсть звездной пыли, не увидеть пейзажей других планет».

Странное слово «никогда». Вместе с ним окончательно ушла радость, и явилась безмерная земная тоска по чему-то утраченному или так и не найденному. Тоска эта ширилась, захватывая все новые уголки души. Ему казалось, что он потерял что-то важное. Силился найти. И не мог.

Человек – не только дитя Земли, но и дитя космоса, и воспоминание об этом живет в нас до тех пор, пока мы с годами не похороним его.

VIII

Дома Шурку ждет сюрприз. На столе в его комнате валяется солдатский ремень. Пахнет кирзовыми сапогами, крепким табаком, дешевым одеколоном и еще чем-то чужим. Шурка только намного позднее узнает, что так пахнет казарма.

Это может значить только одно: из армии вернулся старший брат Иван.

Уход его в армию два года тому назад был воспринят и матерью, и отцом с огромным облегчением.

Есть такие люди, которые всю жизнь идут непонятным для окружающих, но каким-то только им одним ведомым путем. Всю жизнь они изгой в семье, на улице, на работе, в школе.

– В тетю Клаву пошел! – говорил отец.

Тетя Клава – его родная сестра – запомнилась всем тем, что приехала в гости сразу после войны. И однажды, когда брата и его жены не было дома, собрала их нехитрые пожитки и ушла на станцию.

Иван тоже с детских лет все воровал в доме. Для их семейства он был тем, чем знаменитый багдадский вор для своего. Что бы ни положила мать в заветное место – конфеты ли, сахар, деньги, – все немедленно находилось Иваном. И так же немедленно исчезало.

В школу он ходить не хотел. А если и отправлялся туда, то, казалось, только для того, чтобы бить окна, материть учителей, стоять в углу и прятаться от уроков за туалетом с такими же, как и сам, бездельниками.

Все дело в его горячем, порывистом, а в чем-то даже истеричном характере. Стоило кому-то сделать ему замечание, как он сразу бросался в драку. В последний раз, перед армией, кинулся с тяпкой наперевес на соседку, которая нелестно высказалась в его адрес.

Закончив с горем пополам шесть классов, после которых директор школы попросил отца «забрать разбойника», он начал трудовую деятельность.

Но куда бы Ивана ни пристраивали, работать он не хотел. В полеводстве ему показалось неудобно, жарко. Послали на стройку – парень здоровый, крепкий.

Через неделю он, рыдая, показывал отцу свои огрубевшие руки и истерично кричал:

– Вот какая работа! Я не могу! Посмотри на мои руки!

Руки действительно «украшались» мозолями. Впрочем, как у всех.

Ладно. Подделав справку об окончании семилетки, Иван пошел учиться на шофера. Кое-как закончил курсы. А тут пришла пора идти в армию.

– Армия его исправит! – говорил отец, провожая оболтуса в город на призывной пункт.

Это был выход из положения. Как ни крути, а два года – срок немаленький. И по замыслу окружающих, армия должна была изменить Ивана.

Прошло время. Давно уже мать поглядывала на дорогу. Выходила иногда за околицу.

И вот он вернулся.

Шурке тоже не терпелось увидеть Ивана. И он быстро рванул в летнюю пристройку. Заскочил в дверь, остановился.

На плите шкварчит, распространяя дразнящий аромат, яичница из двенадцати яиц. На столе стоит припасенная с незапамятных времен бутылка. За столом рядом сидят несколько непохожие люди – отец и сын. Алексей – длинный, сухощавый, по-северному белокожий, жилистый, в майке. На его лице оживление и легкое недоверие. Иван – круглолицый, курносый, низкорослый, широкоплечий, загорелый. Весь страстный, горящий, живой.

Братья обнимаются. Шурка садится рядом. И разговор продолжается.

Собственно, говорит в основном Иван. Мать от плиты радостно соглашается с ним, подкивает его словам. Отец же, наоборот, хотя и кивает головой, но чувствуется, что не вполне доверяет всему, что ему говорится.

– Я теперь совсем другой стал, – торопливо хрустя огурцом и перескакивая с одного на другое, стараясь побыстрее высказаться, доказать всем, что он теперь совсем иной человек, говорит Иван. – Я теперь понял, как надо жить. Возьмусь за дело. Школу закончу обязательно. Пойду в вечерку. В восьмой класс. Аттестат получу. Я теперь стихи пишу. Меня, мое стихотворение, даже в «Комсомолке» напечатали. Есенин – вот был человек, это да! А как крестьянина понимал! Жизнь – это бурное море. И надо быть хорошим пловцом, чтобы не утонуть. Друзья! Это были не те друзья у меня. Перепелица да Островский. Работать пойду. Помогу вам. Надо только отдохнуть. Мне теперь любую работу дадут. Вы знаете, где я служил? В погранвойсках. Мы в Пицунде дачу Никиты Сергеевича охраняли. Я даже один раз его сам видел. Потрясающий мужик.

– Сынок, а мы тебе деньги посылали. Сто рублей, помнишь? Ну, когда ты написал, что в армии аварию сделал. Надо было починить машину, – робко и радостно отозвалась от плиты мать, напомнив ему, с одной стороны, как она ему помогала, с другой – слегка как бы заискивая перед старшим сыном. – Дошли?

– Да, я из этих денег еще и часы на дембель купил. Ну, это мелочи. Я теперь совсем другой стал. Там нас каратэ учили, – сказал он, обращаясь к Шурке. – Знаешь, какая это штука?! Силищу в руках дает. Однажды один боец, у него так были набиты мозоли на руках, такая сила была, спросонья муху хотел убить, она ему на лоб села. Стукнул себя по лбу и сразу полчерепа снес. Во какая силища! Нас тоже тренировали. Каждый день физкультура: кросс, гимнастика. Я тебя, брат, научу всему.

– Сынок, а говор у тебя теперь какой-то ненашенский. Не по-нашему слова выговариваешь, – заметил отец. – Ну, а, в общем, дай бог, чтобы все, как ты говоришь, было. Я завтра поговорю с нашим главным механиком в гараже насчет работы для тебя. Может, сначала будешь подменным шофером, а потом и на машину посадят. Вместе будем работать.

– Только мне сначала отдохнуть надо хорошенько. Я и так устал от службы. А вы сразу работать, работать! Отдохнуть дайте!

– Конечно, конечно! – заметила мать, подавая на стол жареного гусака.

«Для меня гусака никогда не жарили, да еще целиком, – подумал Шурка. – А здесь, подумаешь, событие – в армии отслужил! Все служат. Достижение какое».

IX

Тени удлиняются. Алая, как раскаленный кусок железа, закатная полоса медленно остывает на западе. Полумрак мягко выползает из всех щелей. В саду птицы стайками усаживаются на ветки.

Приходит вечер.

Приходит так же, как и тысячу лет тому назад. Как и миллион. Так же, как и в эпоху динозавров.

Вечное движение. Заход. Восход. И только человек с его ощущением, что именно он первый живет на этой Земле, думает, что закат солнца прекрасен. Он не прекрасен. Он вечен. Но Шурке Дубравину сегодня не до этих тонкостей. Сейчас загорятся вечерние огоньки в домах. Птицы запоют вечернюю песню. В тишине поплывет запах цветущих садов. Он будет идти отовсюду: от роз у окна, от сирени на аллее, от яблонь. А потом одна за другой начнут вспыхивать звезды. Ах, эти звезды и Луна! Их свет zalьет фантастическим огнем весь окружающий мир. Все запылает, заискрится под этим лунным светом. И будет ночь.

Чудесная, тихая, теплая ночь над Жемчужным. Прекрасная, полная любовного томления и ласки. В такую ночь, если ты не любишь и не любим, остается только одно – упасть на землю, закрыть лицо руками и громко зарыдать.

Постойте, постойте!.. Из центра поселка от клуба раздается призывный сигнал. Играет музыка.

– По переулкам бродит лето. Солнце льется прямо с крыш. В потоках солнечного света у киоска ты стоишь, – поет огненный, знакомый целому поколению советских людей голос Муслима Магомаева. И на этот пароль немедленно откликается Шуркино сердце.

В какие времена, в какие минуты, где и когда он потом еще будет так тщательно, с волнением собираться на свидание?

Никогда и ни при каких обстоятельствах.

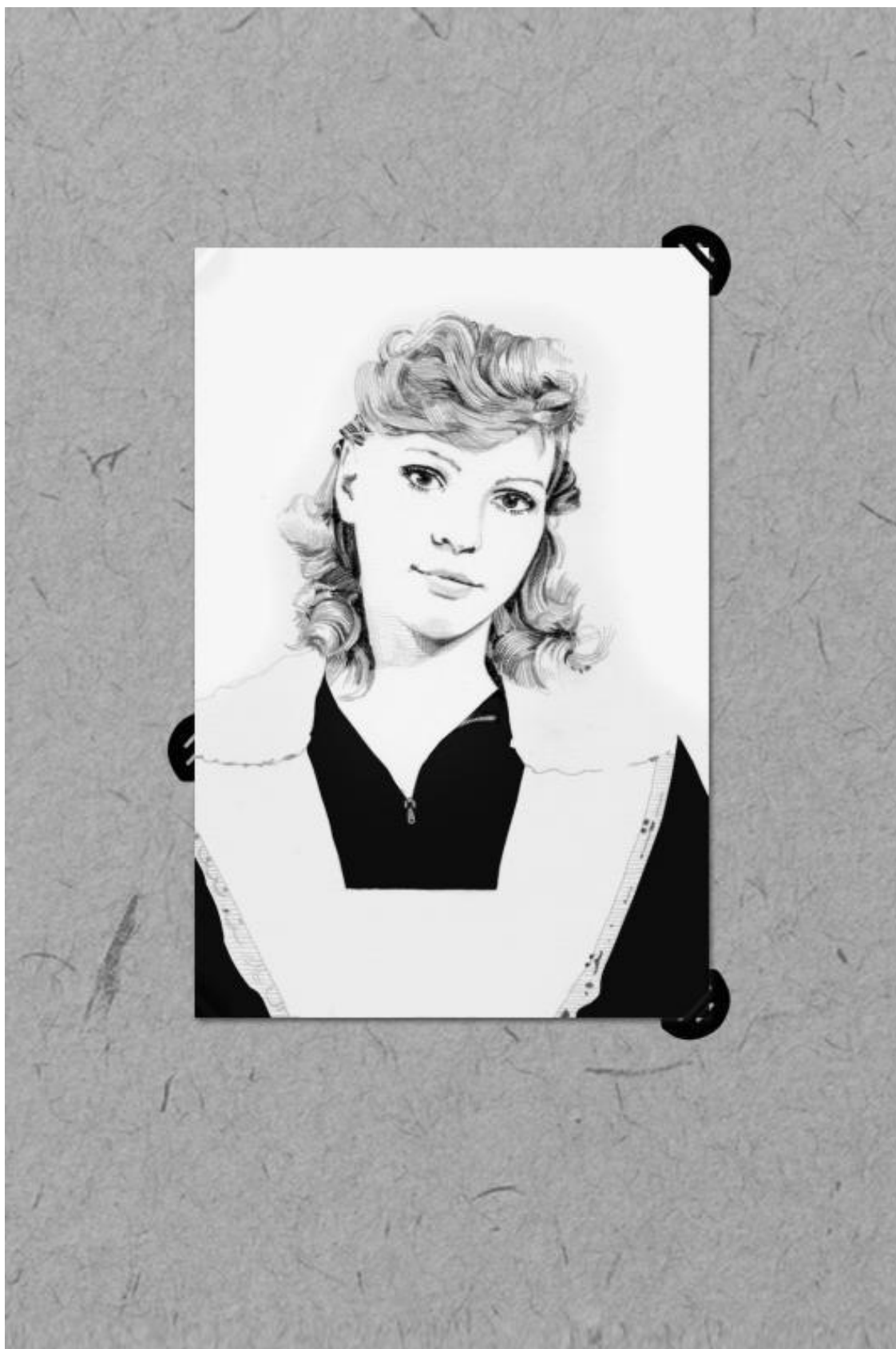
А почему? А потому что свидание первое.

Отгладить брюки. Начистить ботинки. Надеть белую рубашку и через тот же самый лесок, через который ходишь в школу, теперь мчаться на тусовку. На танцы. Клуб ярко освещен, а танцплощадка рядом с ним темная. Но это не важно. Главное, что в углу стоит динамик и гремит, зазывая народ. Но никого еще нет. Шурка поторопился. Пришел первым. А зря. Некие негласные правила культурной сельской жизни гласят: в кино надо приходиться в тот момент, когда фильм уже начался. Раньше времени приходит только малышня.

Дубравин отходит от танцплощадки в сторону, в темноту. Присаживается на лавочку. И наблюдает за развитием событий. Вот он замечает, как возле клуба засуетились ребятишки из соседних домов. Забегали, замелькали. Еще через минуту подплыли под ручку две подружки-школьницы. Вот Аркадий Тихонович Кочетов – их учитель биологии и ботаники, ярый любитель кино, не пропускающий ни одного сеанса. И большой специалист надзирать за поведением учеников. Бывает, что он после фильма прячется где-нибудь на аллее среди кустов сирени и внимательно наблюдает, кто с кем куда идет.

Несколько раз его обнаруживали в таком ракурсе. После чего он с невозмутимым видом выскакивал из кустов и топал домой.

Но вот на площадке появляются объекты, больше всего на свете волнующие Дубравина, – девчонки из их класса. Обычно они попадают в такие места парами. И сегодняшний день не стал исключением. Первыми приходят Лена Камышева и Валентина Косорукова. Они проплывают по кругу и тихо удаляются в кинотеатр. За ними на свет фонаря у танцплощадки выскальзывает из темноты аллея Андрей Франк. Оглядывается вокруг и хочет так же ускользнуть в темноту. Но Шурка тихо зовет его со своей лавочки.



– А, это ты. Привет, сэр! – Андрей подходит к скамейке и присаживается рядом. – Ну что? Никого нет? – Конечно, под «никого» он подразумевает девчонок, с которыми они сегодня

договорились вместе идти в кино. Так как-то обменивались, обменивались в классе шуточными записками, а потом шутя договорились встретиться.

И вот теперь два кавалера с тоской оглядывают окружающую местность. Ведь это черт знает что, а проще говоря, их первое свидание. И они, надо признаться, отчаянно трусят. Во-первых, потому что не знают, как поступить и что говорить, когда девчонки придут. А во-вторых, боятся, что они не придут, и тогда дело будет вообще дрянью.

В общем, так плохо и так нехорошо. Но пока оба парня делятся друг с другом своими страхами и сомнениями, музыка замолкает, и из глубины аллеи показывается интересующая их пара.

Люда Крылова – девочка с кудряшками. Сегодня всех мальчишек класса потрясает ее тонюсенькая талия. Хорошо развитая грудь. Голубые глаза. Кудрявые с рыжинкой волосы. Эдакое томное, невинное создание. (Много лет спустя, когда Дубравин узнает, что такое голливудский стандарт красоты пятидесятых годов, он поймет, что она как раз соответствовала этому стандарту.) Живет она с матерью и братом. Мать работает на почте. Кажется, заведующей. Обитают в крошечном, но своем домике. Счастливо, несчастливо – бог знает.

Валентина Сибирятко – девушка противоположно другого типа. Настоящая русская красавица. Круглолицая, с румянцем во всю щеку. Зеленоглазая, молчаливая.

Если Людмила – решительная и говорливая, то Валюшка из тех, кто «в тихом омуте».

Сейчас они обе, принаряженные, прекрасные своей юной красотой и слегка смущенные собственной смелостью, пришли в «кино». Но по сути все четверо понимают, что это их первое свидание.

– Здравствуйте! – смущенно, в нос произносит Шурка, когда девочки нерешительно-медленно, но все-таки приближаются к ним из темноты.

– Приветствую, – вылезает из-за его плеча Андрей. И, о счастье! Тут же говорит, сглаживая ситуацию, о школьных делах. О том, что скоро вся их классная компания пойдет в большой поход. Что Феодал (директор школы) сказал: если они выиграют республиканские соревнования по туризму, то он всех пошлет на большую экскурсию в Алма-Ату.

– Да ты что?! А откуда ты знаешь? – засыпают его вопросами девочки. Неловкость исчезает. В итоге они, совсем как обычно, будто и нет этой странной ситуации первого свидания, быстро переговариваясь, идут в клуб. Здесь в фойе, нервничая и психуя, дожидается хоть какого-нибудь народа лысый хромоусый киномеханик дядя Петя. Мастер культурного цеха, он же и билетер, выдает им четыре билета и многозначительно хмыкает. Давно ли он гонял этих мальчишек, мечтавших на халаву с деревьев посмотреть в летнем кинотеатре «Приключения незабвенной Анжелики» или «Фантомаса»? Давно ли он стряхивал их с этих деревьев, а они пытались проскользнуть в зал безбилетными? И вот надо же – пришли с девушками.

Ребята торжественно проходят в почти пустой темный зал и усаживаются на камчатке так, что девчонки оказываются вдвоем посередине, а Андрей и Шурка – по краям. Каждый сбоку от своей крали.

Начинается журнал. Но на душе у Дубравина нет покоя. Он чувствует рядом тепло Людоминого плеча и ощущает, что они пришли сюда вовсе не за тем, чтобы смотреть скучное кино. Главное, чего девочки ждут от них, связано вовсе не с фильмом, а именно с ним, с Дубравиным.

«Возьму ее за руку. В темноте не видно, – думает Шурка и весь вспотеваает от страха. – Нет, возьму! Иначе какой же я мужчина? А вдруг она выдернет руку, если я ей не нравлюсь? А если они действительно пришли только кино посмотреть? Будь что будет. Не могу же я сидеть здесь дурак дураком, даже не понимая, что там показывают, и мучиться в нерешительности. Тем более мне страшно хочется к ней прикоснуться». И он осторожно протягивает холодную от ужаса руку, тихонько касается ее ладони. А когда чувствует, как вздрагивает ее рука, сам вздра-

гивает, но не отдергивается, застывает в оцепенении, тихонько берет эту застывшую ладонь в свою.

И сразу не страшно, а радостно. Счастье от того, что закончились эти муки нерешительности. Так они и сидят весь сеанс, держась за руки и глядя только на экран, чтобы никто из окружающих не подумал, что между ними что-то происходит. В какой-то миг она осторожно высвобождает свою ладонь из его. Но ровно через минуту сама находит его руку.

Он на вершине блаженства: «Как в раю».

А фильм скучный и занудный. Впрочем, судя по всему, сегодня это никого не колышет. Они заняты друг другом.

После кино начинается традиционный ритуал провожания домой. Наверное, так же происходит это из поколения в поколение. Но вся прелесть в том, что каждое ощущает себя первым.

Сначала до мостика через речку идут все вместе, как будто бояться обозначить пары. У мостика, где надо расходиться, потому что девочки живут в разных сторонах, происходит сцена трогательного прощания. С обниманиями и птичьим разговором в полупаузах:

– Ну, Валечка, давай, как договорились!

– А ты Гоше передай, что я помню.

– Целую тебя, солнышко!

– И я!

Парни в это время, скромно потупившись, стоят в сторонке, дожидаясь конца обряда. Но вот Шурка остается с Людмилой наедине.

Это горе! Если за минуту до того можно было участвовать в разговоре на уровне междометий или смеха по поводу Андреевой шутки, то теперь приходится поддерживать его исключительно самому. А это оказывается непростым делом.

Каким-то внутренним чутьем Шурка прекрасно понимает, что самое ужасное, когда провожаешь девушку – это молчать пень пнем. Однако легко болтать он не умеет. А чем больше думает, что бы ему сказать, тем меньше может говорить. В общем, облом. Людмила, видимо, тоже чувствует напряжение, понимает его состояние и пытается ему помочь. Она неожиданно ловко берет его под руку и, отвечая каким-то своим мыслям, говорит:

– Саша! А ты своих родителей любишь?

Ему от этого ласкового тона вдруг становится легко и просто с нею, возвращается привычный поток мыслей о себе, о своей семье:

– Ты знаешь, раньше я как-то не задумывался над этим. А сейчас даже не знаю, что сказать. Отец казался мне в детстве таким важным, все знающим, умеющим. А сегодня я понимаю, что он простой шофер. И человек слабый. Как все слабые люди, не сумевшие чего-то достичь в этой жизни, занимается критикой. Все ему здесь не нравится: начальство, люди, машины... Люблю ли я его? Но во всяком случае, не восхищаюсь, как это было в детстве. А с другой стороны – помню, как он брал меня с собой в рейсы. Нам было хорошо вместе.

– А у меня никогда не было отца! Можешь себе представить? Никогда не было и нет человека, которому я могла бы сказать: «Папа»... Как-то не так...

Неожиданная волна жалости и дикой нежности хлынула в сердце Дубравина после этих слов. Он остановился и обнял Людку за плечи. И так же неожиданно она вдруг просто и доверчиво прильнула к нему. Прильнула и стала лепетать о чем-то. И уже не надо думать, о чем говорить...

Х

Уснул сразу. Как будто упал в воду. Он даже не почувствовал перехода из одной среды в другую. Потому что сонная вода была такой же теплой, как воздух.

Мягко и ласково набежала волна. Скользнула по ногам. И о чем-то зашептала, встретившись с белым песком пляжа.

Он взял свою женщину на руки. В черном закрытом купальнике она выглядела легкой, стройной и угловатой, как подросток. Однако, обняв ее, он ощутил бронзовую упругость и тяжесть налитого силой жизни тела. Такое тело было, наверное, у храмовых жриц Востока. Но сейчас, зайдя с нею в теплую, как парное молоко, воду, он чувствовал, что в ней нет того ледяного, присущего богиням равнодушия, которое насмерть убивает желание. Она была живой. И такой несказанно родной...

Сон оборвался. И продолжался.

...Весло погрузилось в прозрачную теплую воду. Пирога, покачиваясь на волне, медленно заскользила от берега. За бортом видны были кораллы, скользили стайками рыбки. Позади остались райские острова с их вечной пронзительной зеленью, с прохладой кондиционированного бунгало, ослепительно белым песком пляжей. Впереди виднелась только аквариумная гладь моря и восходящее над ними солнце. Оно не обжигало кожу, а грело их тела и души.

Он оставил весло и перешел на корму. Ласково, но настойчиво обнял ее. Она обернулась, ища своими губами его губы. Он целовал ее в шею и чувствовал нежную, подсоленную морской водой кожу. Так, целуясь, они медленно опустились на дно пироги. Она была все ближе и ближе. Это была такая близость, каких не бывает наяву...

Легкое касание маленьких грудей... Тепло и гибкая упругость живота... Еще мгновение. И они слились вместе...

В этот миг он просыпается.

XI

День тянулся томительно долго.

Под вечер Шурка взялся колоть дрова на зиму. Достал большой туповатый топор. Заострил его на точильном круге в сарае.

У огромной, наваленной валом кучи бревен спал Джуля. Когда Шурка принялся их с грохотом ворочать, он вскочил и ошеломленно уставился на него: чего, мол, ты удумал?

Из дома вышел в одних трусах брат Иван. Хмуρο буркнул: «Привет!» – и пошел в сад к туалету. На его курносом помятом лице, в мутных глазах явственно проступали следы вчерашней попойки.

Возвращаясь, он остановился недалеко от Шурки, почесал грудь, посмотрел мутными красными глазами на работающего брата и опять повернулся к дому.

– Ты бы помог напилить, – сказал ему в спину младший брат.

– Сейчас приду, – недовольно шмыгнул курносый носом старший.

Иван постоянно ронял себя в Шуркиных глазах. Первое время Дубравин увлекся его рассказами о том, как он скоро пойдет учиться, будет писать стихи. Иван даже показывал младшему брату свою толстую тетрадь в коричневом переплете. Шурка читал. И радовался. Правда, рифма была какой-то вымученной. Но когда брат ревностно цитировал Есенина, Шурка думал: «Вот он у меня какой молодец!»

Но Иван походил, походил со своими стихами, повыпендривался, а потом опять начал попивать. Да и, откровенно говоря, обстановка не располагала к стихоплетству. Стаканы в деревне звенели по любому поводу. Бутылка красного или белого была самой твердой валютой на все случаи жизни. Привез старухе дров – бутылка. Помог украсть мешок кормов с совхозной фермы – бутылка.

Не заладились у брата дела и с девушкой, которая ждала его из армии. Когда Иван вернулся, отношения их пошли вроде бы на лад. И все думали, дело кончится свадьбой. Ну а так как характер у Танюшки был боевой, то в принципе она могла, что называется, взять дон-Ивана в руки. Но увы. Из этого ничего не вышло. Молодежь, что называется, не сошлась характерами. Иван по простоте душевной предложил девушке пожить с ним, не регистрируясь. В те времена в деревнях о таком и не слыхивали. В ответ она твердо постановила: либо законный брак со штампом в паспорте, либо ничего.

Шурка, глядя на постоянно пьяного братца, стал тихо ненавидеть его, поведение Ивана бросало тень на всю их семью.

Иван чувствовал это переменившееся отношение к себе со стороны младшего брата и злился. Он попытался было вернуть все на свои места с помощью пьяных откровений. Но наткнулся на холодное презрение.

Вот и сейчас Шурка позвал брата пилить дрова так, для проформы, чтобы еще раз, с одной стороны, убедить себя в его никчемности и оправданности своего презрения. А с другой – показать Ивану его никчемность, вызвать чувство вины.

Ведь ясное дело, что в таком состоянии тот работать не мог.

Но неожиданно Иван вышел. Видимо, почувствовал в словах брата вызов. И решил доказать, что он в полном порядке. Хмуρο, отплеываясь, выпил кружку воды и, не глядя по сторонам, встал к козлам. Шурка швырнул первое бревно.

Зазвенела разгибаемая двуручная пила и вгрызлась в мягкий бок белолистики, как еще называют пирамидальные тополя. Шурка завелся с пол-оборота. С ходу взял такой темп, что через минуту отпиленный чурбак глухо стукнулся оземь. Не останавливаясь и не сбавляя темпа, передвинул пилу дальше.

И пошла потеха. Только летели опилки. И стучали оземь чурбаки. Через пять минут оба взмокли так, что хоть рубаху выжимай. Шурка, не останавливаясь, то и дело мотал головой, сбрасывая наземь прозрачные капли пота со лба. Рука уже саднила от неудобной рукоятки. Сердце колотилось в груди со страшной силой.

«Точно мозоли кровавые будут, – думал он. – Ну, ничего. Пробьемся. А ты, браток, терпи. Гад такой. И какой вчера дебош устроил! Как свинья. Орал. Дергался. На отца кидался. Еле усмирили тебя. Пьянчуга!»

Похмельный Иван тоже пока терпел. Он чувствовал отношение младшего брата. И, видимо, пытался доказать, что все ему нипочем. Но видно было, что силы его на пределе. Он тяжело дышал, сопел. Лицо побагровело. Когда допилили третье бревно, Иван не выдержал. Пока Шурка вытаскивал и укладывал на кривоногий, грубо сбитый козелок очередной ствол, молча присел в тени сарая.

– Ну что, перекур?!

– Какой такой перекур? – ответил Шурка, любивший яростную работу, в какой он мог бы дать выход своей натуре, а сегодня еще и желавший досадить Ивану. – Только начали. А ты раскис. Ну ладно, отдыхай! Я сам...

Иван сорвался с места, сжал кулаки, подлетел к нему. Яростный, ненавидящий.

– Я тебе, сволочь, сейчас покажу! Все выпендриваешься? Щенок! – он уже развернулся, примериваясь...

И тут в Шурке перещелкнуло. Видимо, сорвалось долго сдерживаемое раздражение против брата. К тому, что не оправдал надежд. К его бестолковости. К пьяным разборкам по ночам.

Шурка схватил лежавший рядом колун. Выпрямился и процедил, трясаясь от ярости:

– Только тронь меня, сука! Изрублю на куски!

Он видел сейчас только красные с прожилками глаза Ивана.

Иван ощутил ярость брата. Увидел, как у того с лица отливает кровь, и понял: тот действительно сейчас пустит в ход топор.

– Психический! – прошипел он, отступая. Повернулся и ушел в дом. А Шурка взял первый попавшийся чурбак. Поставил его торчком на колоду. И ахнул топором со всего размаху так, что чурки полетели в разные стороны.

Джуля, спавший у своей будки, вздрогнул и насторожил уши. А он колот дрова неистово, яростно, вкладывая в каждый удар всю силу молодого тела. Когда попадался сучковатый пенек, насаживал его легким ударом на топор, переворачивал и бил обухом о колоду так, что все вокруг вздрагивало.

Иван больше не показывался из дома.

Собака в ужасе спряталась в будку. А он все махал топором в яростной тишине, грозный, как бог.

Потом снес наколотые дрова в сарай и аккуратно сложил там в поленницу.

«Что здесь за жизнь такая? – думал он уже без гнева, а только с чувством какой-то печали. – В сущности, и наш Иван неплохой. Что-то хотел сделать. А теперь во что превратился? Как все здесь. Пьяница. Засасывает здешняя жизнь. Заживо человека хоронит. Любого. Бежать надо. Бежать отсюда, из деревни», – неожиданно закончил он.

XII

*Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста!
Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним
ожерельем на шее твоей.*
Песнь песней Соломона. Гл. 4

Вначале был взгляд. Внимательный и пристальный.

Затем он увидел глаза. Большие, круглые, золотисто-зеленые.

После стычки с братом, который по приезде загулял, Шурка третий день ходил сам не свой. Хмурый и серый. Сознание без остановки прокручивает то одну, то другую безобразную сцену. И вот сейчас он натывается на эти глаза и погружается в них. В другой мир. Мир, в глубине которого, в самой глубине зрачков, что-то изменчивое, ласкающее, теплое. Душа?!

Он улыбается.

И приходит свет. Этот поток света пронзает его от макушки до пяток.

Входит в сердце, смывает все: злость, обиду, раздражение. Вот он будто сидел в темноте, в яме. И вдруг его оттуда достали. На солнце.

За светом всплывает в душу радость. Такая огромная, что не вмещается в ней. Он чуть не задыхается от счастья. Невольно губы сами складываются в глупо-блаженную улыбку. Становится тепло и спокойно.

А в глазах напротив уже нет сочувствия. В огромных черных зрачках скачут озорные бесенята.

Она подмигивает ему и отводит взгляд.

И вдруг он чувствует, что с этой минуты ему чего-то будет постоянно не хватать. Как будто он маленький-маленький человек и вдруг потерял маму.

Так приходит чувство.

ХІІІ

Неспешной чередой, день за днем, тянется вечность. Внешне мало что изменилось в жизни Шурки Дубравина. Так же собирались на тренировки ребята, так же он ходил в школу. Но душа его была смущена.

Всего один взгляд, одна улыбка. И в мире неожиданно появился человек, мнение которого стало для него самым важным. Сделав что-нибудь, Дубравин теперь обязательно спрашивает себя: «А как бы на это посмотрела она? Одобрила бы?! Осудила бы?!»

Это стало каким-то наваждением. Он приходил в школу и сразу начинал искать глазами Галину Озерову. Если она была на месте – мгновенно успокаивался.

Вот и сегодня Шурка, как вихрь черный, влетел в класс в последнюю минуту. Быстро достал учебники, тетрадь. Открыл нужный параграф и... И осторожно оглянулся. Невероятная, первобытная сила заставляла его оборачиваться, чтобы уж, наверное, в миллионный раз увидеть ее.

Любимая сидела на месте. Круглолицая, подстриженная под мальчика, с огромными зеленовато-золотистыми, то задумчивыми, то озорными глазами, она внимательно смотрела на доску, где красовалась полустертая надпись: «Витка + Галка =?».

Ощувив его упорный взгляд, она беспокойно оборачивается. Их взгляды пересекаются только на мгновение. Шурка отводит глаза, опасаясь и одновременно желая, чтобы она догадалась о его мыслях.

«Нет, не нравлюсь я ей, – с тоскою решает он. – Не буду больше на нее смотреть».

– Не буду! – стиснув зубы до боли в челюстях, повторяет он про себя. Его бесит эта несвобода. То, что и горе, и радость его зависят не от него, а от того, как посмотрит, что подумает другой человек.

С соседнего ряда оборачивается Люда Крылова. Трясет кудряшками и улыбается. Но Дубравин делает вид, что не замечает этой ласковой улыбки, и с таким же непроницаемым лицом продолжает разглядывать цветущую сирень под окном. Улыбка на лице Людмилы увядает, синие глаза темнеют.

Есть в их отношениях с Крыловой какая-то недосказанность, неясность. Так случилось, что с похода в кино с двумя подругами начался их роман. Кружилась голова. Шуркиному самолюбию льстило то, что самая красивая девочка в классе каждый вечер спешит к нему на свидание.

Но пришел тот день, когда он увидел Галинины глаза. И все в этом мире перевернулось.

Ах, эти смешные и ласковые бесенята. Куда от них деться?

Сегодня первый урок – биология. Дубравин этот предмет любит, но изучает его довольно своеобразно. К примеру, представляет себя превратившимся в микроба и мысленно путешествует по всему телу, проникая в сердце, легкие, печень, сражаясь с бактериями и вирусами. Как ни странно, такой способ изучения дает ему больше, нежели другим постоянная зубрежка. Он ходит по биологии если не в отличниках, то, во всяком случае, в хорошистах.

Сейчас Шурка достает потрепанный учебник с разноцветными изображениями на обложке бородатых обезьян, мух-дрозофил, схемы деления клетки и пытается за оставшиеся минуты углубиться в материал.

Тихо скрипит дверь, и, как всегда неожиданно, появляется Аркадий Тихонович Кочетов. Сидящие на камчатке не успевают даже вовремя спрятать игру в самолетики, а две девчонки, бурно обсуждавшие платья, так и застывают, осекшись на полуслове.

Кочетов осуждающе смотрит на них, качает головой и, стараясь держаться как можно прямее, идет к учительскому столу.

Маленького роста, щуплый, задиристый, с остреньким носом, белыми, выгоревшими от постоянного пребывания на солнце бровями, коричневым от загара лицом, он ходит всегда важно, стараясь держаться прямо. И этим действительно похож на петушка. Сходство усиливает островерхая шляпа и привычка по-петушину вертеть шеей.

Он мученик науки, свой предмет считает главнейшим и болезненно переносит всякие посторонние занятия учеников.

Оглядывает все три ряда самых разнообразных – равнодушных и внимательных, насмешливых и напряженных – лиц и говорит:

– Садитесь!

Затем разглядывает аквариум. Разыскивает в его зеленоватом полумраке рыбок. И по привычке проверяет, все ли они на месте. Живо раскладывает свои конспекты, учебники и вместо темы урока неожиданно заявляет, подавляя взглядом сидящих на задней парте девчонок:

– Вот, собираются жить дальше! А думают не об учебе, а только о тряпках! Нет, из вас, Сулеева и Рябова, ничего путного не выйдет... Будете как Пятницкая...

Пятницкая – бывшая ученица десятого класса. В прошлом месяце вышла замуж за парня, вернувшегося из армии. Жили они не регистрируясь. В ожидании совершеннолетия молодой жены. Когда Кочетов узнал, что школьница вышла замуж, впал в неистовство. И талдычил только одно: «Судить его, подлеца!»

Но окружающие смотрели на это дело иначе. Пару раз молодых вызывали в сельсовет. Супруги держались друг за друга крепко. И все отступились. Живут в добром согласии, ну и пусть себе живут.

Особенно разозлил старого холостяка разговор с молодым мужем. Все его аргументы он отмел одной фразой:

– Если бы все рассуждали так, как вы, Аркадий Тихонович, в стране остались бы одни старики. – И ехидно добавил: – Или дети теперь будут появляться с помощью вашей биологии?

Кочетов понял намек. Холостяк в деревне всегда считается пропащим. Здесь же одиноким бобылем всю жизнь прожил учитель, к личности которого сельчане относятся с повышенным вниманием. И конечно, в таком случае не обошлось без слухов, домыслов. В Жемчужном все знали Кочетова. Родом он был из оренбургской станицы Антоновской. Здесь работал уже более двадцати лет. Поселился в этих краях сразу после войны, во время которой, как поговаривали, попал к немцам в плен и много потерпел.

У него был собственноручно отстроенный дом, сад, ульи. Особенно любил Кочетов возиться с деревьями и цветами. Доставал в питомнике серебристые туи, голубые ели. С гор привозил саженцы дикой груши, скрещивал их с культурной. Его стараниями школьный участок всегда выглядел цветником.

Лет пятнадцать назад, когда приехала к ним в село учительствовать умная, красивая городская выпускница пединститута Александра Гах, он хотел жениться.

Что было между ними, чего не было – о том история умалчивает. Факт, что остался Кочетов холостяком.

Ученики считали его довольно вредным, но, в сущности, он был просто одиноким человеком.

С годами причуды его холостого бытия проявлялись сильнее. Кочетов стал резче на слово, деспотично относился к ученикам и не раз доводил девчонок до слез.

На селе считали, что он стал сухим пнем, который уже не зацветет.

Но не так давно с ним произошла эта история. На соседней улице жила вдова. Она воспитывала двоих сыновей. И так получилось, что один из них как-то привязался к пожилому учителю. Стал часто хаживать к нему в гости, помогал в саду, ухаживал за пчелами. В деревне поговаривали, что Кочетов якобы даже усыновил Вовку. Но это вряд ли. В общем, ясно одно

– и дневал и ночевал парень у него. И хотя Аркадий Тихонович был человеком довольно прижимистым, Вовку он баловал.

В деревне каждый парень мечтает о мотоцикле. Сначала пацаны ездят на велосипедах. Лет с тринадцати пересаживаются на мопеды и отцовскую технику. Потом им приобретают «Восходы», «Ижи».

Не был исключением в своих мечтах и Володька. К шестнадцатилетию подарил ему Кочетов мощную, быструю, как вихрь, «Яву».

Когда он на своем рычащем и сверкающем чуде влетал во двор и на всем ходу тормозил, радовалось сердце старого учителя.

В темную осеннюю ночь, когда из-за облаков не видно ни звезд, ни луны, повез Володька мать в город на вокзал. Возвращался, беспечно газовал. А тут, как назло, что-то случилось со светом. Лампочка, что ли, перегорела. Только не заметил Володька в темноте стоявшего на дороге без огней и опознавательных знаков брошенного пьяным трактористом прицепа...

Умер он, как говорили потом врачи, мгновенно.

Аркадий Тихонович с тех пор стал еще суше, язвительнее. Во всяком случае, внешне.

Уже под конец урока Шурка набрался смелости и спросил Кочетова:

– Аркадий Тихонович! Тут говорят, что мы едем?

Учитель, собирая свои конспекты и тетрадки, хитро сощурился и, не поднимая головы от стола, а только повернув ее, проворчал:

– Скоро узнаем, куда едете. Ишь, развели... Только бы им на занятия не ходить.

XIV

В коридоре гам, грохот, топот. Малышня носится из угла в угол. Мелькают белые фарточки, алые галстуки, разноцветная обувь. Один толкает другого, и все кричат, словно глухие. К Шурке подходят Андрей Франк и Толик Казаков – сухощавый, высокий, красивый, темно-волосый брюнет, подстриженный под «битлов», но как раз на той длине прически, что разрешается в пределах школы. Он торжествующе улыбается.

– Сэр Сашка! – обращается он к Дубравину несколько торжественным тоном. – Сегодня получено известие...

Андрей Франк перебивает его, блестя глазами:

– Толян, да кончай ты церемонии. Санек, едем на слет. Понял! Слет под Усть-Каменогорском.

Шурка, куда только девается его обычная сдержанность, обрадованно присвистывает:

– Да ну?! Не может быть!

– Мне по секрету завуч шепнул.

Из бокового коридора, о чем-то разговаривая, выходят подружки – Галина Озерова и Людмила Крылова. Кудрявая, улыбчивая Людмила стреляет в мальчишек нарочито томным взглядом с поволокой и отворачивается. Невысокая, но удивительно пропорционально сложенная, с высокой грудью и тончайшей талией, она в один год превратилась в прекрасную, обольстительную девушку. Светлая, чуть легкомысленная кофточка и легкая летящая плиссированная юбка удачно подчеркивают ее юную, всепобеждающую красоту. Рядом с нею стриженная под мальчика, большеглазая, худенькая Галина в своем строгом темно-синем костюме кажется еще совсем не оформившимся подростком.

– Ребята, нас всех на следующей перемене директор школы вызывает к себе, – говорит Галина. – Наверное, насчет поездки.

Каждую весну они участвовали в туристических слетах. Последние годы их команда неизменно занимала первое место в районе. Дважды они ездили в Усть-Каменогорск. Нынче осенью снова выиграли районные соревнования и ждали летнего слета туристов республики, где твердо решили победить. Но зимой по школе начали ходить слухи, что их команду не пошлют. Говорили, что поедут запасные из младших классов.

А сегодня ребята узнали прямо противоположные вести.

Чему верить?

– Конечно! – размышляя, медленно говорит Дубравин. – Если мы выиграем, и для школы это будет неплохо. Директору тоже нужна слава. Как же, у него команда – чемпион республики среди школьников по туристическому многоборью! Да и нам этот успех, я думаю, не помешает. А молодняк не сможет.

– А главное, представляете, – горячо говорит бесхитростный Андрей Франк, – три дня в горах, на турбазе... Поход к месту слета по реке на плоту. Чудо! С девчонками вместе. – Он в упор смотрит на Галину.

К ним откуда-то из-за толпы шумящих третьеклассников пробивается Вовуля Озеров, Галинкин младший брат. Его большая беленькая голова с пухлыми щеками беспокойно вертится на тоненькой шейке, выглядывающей из широкого ворота рубашки. Глаза ищут кого-то.

Узнав новость, он обрадованно обхватывает Шурку и Андрея за шею. Виснет на них и орет, перекрывая шум голосов:

– Ура!

– Да погоди ты! – выворачиваясь из-под его руки, говорит Андрей. – Это пока только слух.

– Дыма без огня не бывает!

Дубравин вспоминает, что принес Вовуле «Красное и черное» Стендаля, и идет за книгой в класс.

На столе у него лежит какая-то записка. Он думает, от Людмилы, но ошибается. Записка без подписи: «Дубравин! Зря стараешься. Ты ей не нужен. Она ждет из армии другого. Если не веришь, то посмотри на перемене. У нее на столе лежит письмо от него».

Шурка ищет по сторонам, кто мог это написать. Но в классе никого. Только за первым столом Косорукова что-то пишет, прикрывая ладонью.

Шурка знал, что Людмила в восьмом классе встречалась с одним пареньком. Он прошлой осенью ушел из школы. Считалось, что у них все кончилось. И вот теперь какой-то неизвестный «доброжелатель» напомнил.

«Ну зачем же она тогда меня ждет по вечерам? Нет, видно, чужая душа – потемки. Что ее обвинять? Сам ты каков? Тоже небось хорош. Гуляешь с нею, а мечтаешь... Сам себя запутал. И как будешь выпутываться?»

Но таков уж человек: что имеет – не хранит, потерявши, плачет. В глубине души Дубравин все-таки чувствует, что самолюбие его уязвлено.

Сделав как можно более беззаботный вид, Дубравин медленно проходит около ее стола. Да, точно, в уголке лежит конверт с треугольником военной печати. Ему очень хочется взять его и прочитать. И даже рука сама тянется. Но он вовремя спохватывается и, отдернув ее, оглядывается по сторонам.

«Ах, вот так? Значит, в записке правда. Вечером встречаешься со мною, а по утрам отвечаешь на его письма. Ну ладно! Посмотрим, кому от этого будет больнее, – зло думает Шурка. – Я тебе не Коля Чернышев, из которого можно веревки вить».

XV

В маленьком кабинете директора школы никого. На стене картины, показывающие распространение жизни начиная от древнейших времен до нынешних. На полированном столе аккуратными стопками лежат бумаги и книги. В углу сейф, вдоль стен – несколько стульев. В открытое окно озорно пролезает ветка сирени. Пахнет цветами и старой сухой пылью от карт.

Ребята рассаживаются на стульях у стены. Дежурный, приведший их сюда, выходит.

– Точно едем на слет? – оглядев всех, говорит Андрей.

– Меня могут и не пустить, – отвечает Галинка Озерова.

– А я поеду! – вступает Зинаида Косорукова, здоровенная, как борец, плечистая девица.

– Отлично!

– Здорово!

– А как же подготовка к экзаменам?

– Мы нужны школе. Помогут и экзамены выпускные сдать! – откликается на животрепещущую тему Толик Казаков.

Дубравин в разговоре не участвует. Он в это время вспоминает историю, приключившуюся с ним в младших классах и закончившуюся в этом самом кабинете. Пытается мысленно сочинить на ее основе новую, действующие лица которой – он сам и другие.

«Робот ПЮ-61 – ученик четвертого класса Александр Дубравин. Неумная фантазия привела его к роли робота. – Расставляет он действующих лиц. – Учительница. Ольга Владимировна. Задерганная, крикливая, вечно недовольная всем на свете.

Директор школы. Александр Дмитриевич Тобилов. Прозвище Феодал. Бывший военный, перенесший казарменные навыки воспитания в среднюю школу.

Мария. Мать Дубравина. Столько настрадалась от государства, что опасается всего. Учителя и директора – для нее тоже власть.

И школа. Класс. Доска.

Сцена выстроена. Теперь пьеса. Она раскручивается у доски.

– Дубравин! К доске.

«Я робот, робот, робот! Есть команда. Выполняю. Встаю. Выхожу к доске».

Ольга Владимировна: «Что это у тебя за походка? Как ты идешь?»

Шурка: «Я робот! Я робот!»

Учительница: «Ох уж эти мальчишки. Что это с ним? Заигрался малыш. Спросить его. Ой, да некогда пустяками заниматься. Надо опросить сегодня хотя бы четверых. И новый материал закрепить. Когда тут разговаривать?! Поставлю его в угол. Небось живо одумается».

– Стань в угол. Стой! Петров Миша, к доске.

Проходит пять минут.

– Ну что, Дубравин, одумался? Будешь вести себя как положено?

– Робот ПЮ-61 готов решить задачу!

«Ах ты какой упрямый! – пугается она. – И вообще, в классе, кажется, начинается шум? Ох, если они опять выйдут из-под контроля? Что будет, если директор узнает?»

От страха до ненависти один шаг.

«Маленький негодяй! Он еще и издевается, гаденыш! Весь урок может пойти насмарку. Может, попробовать обернуть дело шуткой? Заигрался ребенок. Вошел в роль. Изображает робота. Какие, к черту, шутки, на носу контрольная! Авторитет мой подрывает».

– Прекрати сейчас же придуриваться!!! Марш на место! К директору пойдем!

«Господи, да что я опять кричу! Сорвалась. Ах, муж Иван. Опять вчера напился, негодяй. Устроил дома дебош».

– К директору тебя. К директору! Ты к-а-а-ак х-о-о-о-о-д-и-шь? К директору!

«Действие второе, – говорит сочинитель про себя и добавляет: – Кабинет директора».

Директор: «Господи, опять эта кикимора какого-то ученика притащила. И что сверкает глазами? Вот точно так сверкал глазами в полку прапорщик Бонятко. А потом оказалось, что он пидор. Уволить бы мне эту стерву. Ведь ни на что не способна. Заморочила голову всем. И детям, и мне. А уберешь – начнутся кляузы. У нее какой-то родственник в райкоме. Как же, педагог с двадцатилетним стажем! Ну что там случилось? Солдатик-то вроде смирный. Ну, так и знал, очередная шалость. Мальчишка – просто артист. Могла минуту с ним поговорить, поиграть. И делу конец. А теперь я должен этим заниматься. Ладно, буду поддерживать, как написано в учебнике, педагога».

– Ну что, Дубравин Александр! Что ты наделал? Как ты мог дойти до такого? А? Ольга Владимировна так вас любит. Так старается сделать из вас настоящих солдат э... людей. А ты срываешь уроки. А что будет, если каждый начнет играть на уроке в роботов или медведей? Эта школа превратится в зоопарк. «Господи, что за дичь я несу?» Дисциплины никакой не будет. Занятий не будет. Ну, что ты на это скажешь? Понимаешь, что говоришь?

Шурка: «И что я такого сделал? Разве я сделал что-нибудь плохое? Мы с Наташкой играли. И я подумал, почувствовал себя роботом. Разве им это объяснишь? Хотя бы это все кончилось. А то еще мать вызовут».

– Нет, ты что молчишь? Ты хотя бы осознаешь, что творишь? Я по глазам вижу, что не осознаешь. Да за такое нарушение дисциплины и порядка школа может тебе по поведению оценку снизить. А это, знаешь, первый шаг. Там глядишь – на учет в милицию поставят.

«Господи, и что я несу?! Какая милиция? А впрочем, что делать? Надо поддержать авторитет. И что за ребенок упрямый. Ну, точно как мой Вовка. Хотя бы покался. Сказал бы, что больше не будет. И пошел бы. Вместе с этой... Ольгой Владимировной, мать ее так. И урок идет».

– Ну что, отвечай мне. Будешь еще срывать уроки? Выводить из себя учителя, что молчишь? Будешь?

Ольга Владимировна:

– Ну, давай! Надо сказать: «Не буду!». Видите, какой он, Александр Дмитриевич! Упрямый, молчит!

Шурка: «Надо, наверное, сказать: «Не буду!». Но откуда я знаю, буду я еще роботом или нет? Скажу, а потом не сдержу слова. Лучше промолчу».

– А?! Так ты еще и упорствуешь! Я думал, у тебя это случайно вышло. А ты, оказывается, все это злонамеренно устроил. Ну, тогда смотри у меня! Ольга Владимировна, оставьте его после уроков. И вызовите его родителей. Пусть они ему покажут!!!

Действие третье. Два часа дня. Учительская.

Мать: «Затюкают они мне парня. К телятам – и то подход нужен, а тут дети. А эти, что они понимают? Хотя как им скажешь, еще больше будут клевать малышку. Особенно эта дура! Ведь сразу видно, что дура!»

– Он больше не будет! Конечно, не будет, Ольга Владимировна. Я его знаю. Нет, Александр Дмитриевич, он неплохой, не то, что старший, вы не думайте. Только фантазер большой. Все время во что-то играет. К нему подход нужен, понимаете...

Александр Дмитриевич: «Сейчас начнет заступаться за свое дитя. Оно и понятно, что парнишка смирный. Но сейчас начнется склока. Лучше пусть уж помолчит».

– Знаете что, Мария, не знаю, как вас по отчеству?!

Мать пугается: «Господи! Да он меня по отчеству хочет называть, наверняка какую-нибудь гадость собирается сделать Шурику. Лучше уж промолчать».

– Так вот, Мария Ивановна, я думаю, вам надо подумать о поведении вашего сына...

Пьеса обрывается на самом интересном месте. В кабинет входит директор. Все встают.

Бывший военный Александр Дмитриевич Тобилов потерял ногу где-то на какой-то войне и ходит теперь с палочкой, поскрипывая при каждом шаге протезом. Его невысокая фигура с совершенно лысой головой, вечно прищуренными и без того узкими выцветшими голубыми глазами внушает ученикам первобытный страх. Характер у него занудный. Вызвав человека в кабинет, долго и упорно распекает его, пока тот с отчаяния не признает себя виновным во всех мыслимых грехах. Тобилов преподаёт историю и особенно любит Средние века, за это ученики прозвали его Феодалом. Он знает, и прозвище ему даже нравится.

Сегодня, судя по фальшиво-веселому виду, который директор любит напускать на себя и которому никто из учеников обычно не верит, он принес хорошие вести.

Шурка недавно заметил, что большая часть учителей стала к ним относиться подчеркнуто уважительно, как к разумным людям. Сегодня в этом духе начал разговор и директор. Слушая его вопросы об учебе, оценках, Дубравин впервые осознаёт, что они уже взрослые.

«Да, взрослые, – горько думает он, – и уже научились лгать по-большому». Ему обидно, сердце щемит от этого открытия. Он почти не слышит разглагольствования Тобилова.

– Ну а у тебя как дела, Дубравин? – заметив его хмурый вид, спрашивает тот. – Что такой кислый? Я в журнале обнаружил – у тебя опять двойка по алгебре. Ай, ай, ай! Не вижу ответственности.

Директор чуть было не впадает в обычный свой тон и не начинает распекать Шуру. Но видимо, вовремя вспоминает, что вызвал не для этого, и резко меняет тему:

– Ну да ладно! Я вас собрал вот по какому делу. Мы тут посоветовались и решили все-таки послать на республиканский туристический слет ваш состав. Хотя вы и выпускники. И экзамены на носу. Но вы выиграли в прошлом году районные соревнования. Что скажете, орлы?

При этих словах Дубравин чуть улыбается, понимая, что директору непривычно говорить с ними, как со взрослыми людьми.

– Возьмите с собой на случай человека три-четыре запасных из младших классов, – добавляет Тобилов, отпуская их на волю.

XVI

*Уста твои – как отличное вино. Оно течет прямо к другу моему,
улаживает уста утомленных.
Песнь песней Соломона. Гл.7*

– Посмотри на дорогу! – впервые между поцелуями говорит он. – Видишь огонек?

– Двигается?

– Да, который движется! Это машина. В ней люди. Знаешь, что они везут? Они везут в кабине свои мысли, заботы, переживания. О чем-то мечтают. И каждый из них – целый мир. А мы сидим здесь, и мимо нас проносятся эти вселенные. Или хотя бы частички вселенной.

– Как интересно!

– Иди ко мне! Ну, иди сюда...

Они сидят на лавочке на холме у памятника и вот уже, наверное, часа два отчаянно целуются.

В этих горячих объятиях, в этих мягких, податливых, пахнущих мятой губах растворилось все: Шуркино раздражение, уязвленная гордость, желание развязаться с Людмилой.

Он ни о чем давно уже не думает. Только чувствует. Нежную влажность губ, локон, попавший под поцелуй, свой язык, проникший между ее зубами. Встречное скольжение ее языка. Упругость спины под руками. Застежку лифчика. Касание ее бедра. Упорство рук, упершихся ему в грудь. Страшное напряжение желания.

Минуту назад его рука чуть-чуть продвинулась вперед по бедру. И казалось, пальцы коснутся трусиков. Но снова надо преодолевать вязкое сопротивление ее пальцев и шепот:

– Не надо! Ну не надо! Нельзя!

Сладкая пытка.

А в темноте мягко и волшебным пахнут розы. Вдали чернеет лес. Поле вокруг памятника полно каких-то шорохов и звуков. Надрываются сверчки. Где-то поет птица. Все дышит жизнью, любовью, желанием. И эта юная пара на лавочке, слившаяся в бесконечном поцелуе, также гармонично и естественно вписывается в волшебную симфонию продолжающейся и торжествующей жизни.

Островерхий, похожий на штык памятник был поставлен на этом придорожном холме не без участия школьников года три тому назад. Тогда на берегу Ульбы рыли обводной канал и случайно нашли два скелета.

Из города наехали милиция, эксперты, начальство. Прояснилось, что погибшие были молодыми женщинами лет восемнадцати-двадцати. «Убиты выстрелами в затылок. Приблизительно в двадцать втором – двадцать четвертом годах».

Эта безымянная могила на крутом берегу реки открыла ребятам другую правду о Гражданской войне. Не ту, о которой писали в книгах и которую показывали в кино.

Они начали поиск с опроса стариков. Восьмидесятилетняя бабка Мамлиха и рассказала им, что случилось здесь весной двадцатого года.

– Совсем молоденькие девочки были. Бандиты их поймали. Посадили в сарай. Ох и плакали они! Ох как плакали! Три дня сидели... Говорил народ, что будто бы они были из отряда какого-то...

А потом пошли запросы в архив, десятки писем бывшим командирам красных партизанских отрядов. И открылись имена тех девчонок – Харитина Данилова да Мария Куликова. И лет им было по девятнадцать. И послал их на связь с другим отрядом красный командир. Да не дошли они. То ли белые, то ли бандиты остановили. А дальше – сарай и обрывистый берег Ульбы.

А эскиз этого памятника героям Гражданской войны у дороги нарисовал учитель-немец Григорий Яковлевич Оберман, во время войны высланный в Казахстан.

И построили его совхозные умельцы.

На открытие пришли сотни людей.

Теперь лето, место возле памятника облюбовали влюбленные парочки.

Дубравин высвободился из объятий и подошел к цветущей черемухе. Отломил большую ветку, на которой распустились крупные белые цветы, и, дурачась, протянул Людке.

– Мадам! Си ву пле... На память...

В это мгновение он вспомнил утреннюю записку, и радость его угасла, съедаемая ревностью и обидой. Он помрачнел, но решил схитрить и не говорить о письме прямо.

– Аттракцион в духе великих психологов! Хочешь, я угадаю твои мысли?

Он старался сохранить веселый насмешливый тон, но помимо его воли в голосе нарастало напряжение.

– Ну, попробуй!

– Счас настроюсь на твою волну! Так, готовлюсь. А, вот! Ты думаешь в эту минуту о некоем письме, которое получила на днях. И о том, кто его написал. А написал его... Минуту... Написал его черноволосый, длинноногий парень!

Конечно, Шурка и не собирался угадывать ее мысли. Он просто искал способ, чтобы сказать Людмиле о том, что узнал. Тем разительнее был эффект.

– Откуда ты узнал? – ошеломленно спросила она.

– По глазам!

– Обманиваешь?!

– Истинный крест!

– Нет! Кто-то тебе из девчонок рассказал...

Ему вдруг стало до того обидно! Он считал, что любим. Что единственный. А оказывается, даже вся женская половина класса знала о его роли запасного.

Людка женским инстинктом почувствовала происходящее с ним.

– Тебе обидно, да?

И хотя ему действительно было обидно, он сглотнул слюну и гордо ответил:

– Нет! Мне не обидно!

– Почему?

– А теперь ты угадай!

– Не знаю!

Он еще колебался. Но обида вдруг слилась с давно копившейся неразделенной тоской по Галине, которая живет себе на свете и знать не хочет о нем. О том, что у него душа болит. О том, что он запутался в отношениях с Людкой.

Вообще-то, за секунду до этого он не собирался ничего подобного говорить. И было у него такое ощущение, что говорит за него кто-то другой.

– А вон, видишь дом! – протянул он руку.

– Ну, дом Озеровых.

– Так вот, я сейчас думаю о Галине. О том, что в этом доме живет она, тот человек, которого я по-настоящему люблю, без которого жить не могу!

Лицо ее вдруг начало известково белеть. Сложная штука – душа человеческая. А уж женская... С чего, казалось бы, переживать. Ну, встретились. Ну, целовались. Оказалось, у каждого главное не с тобой. А подлец – ты. И побелела вся. И голос осекся.

– Ты чего, Люд?!

В одно мгновение горечь и обида в Шуркином сердце сменились такой щемящей жалостью к ней, что он хотел и не мог найти слов утешения. Во рту пересохло. В голове вертелось глупое «си ву пле»... Тогда он сделал неуклюжую попытку обнять ее.

Она, как кошка, фыркнула и, отскочив в сторону, стукнула его веткой цветущей черемухи. Стукнула и тут же, видимо, испугалась, что он обидится.

А он и вправду снова обиделся. Но постарался не подать виду. А молча шагнул к ней. Взял из ее рук ветку черемухи и язвительно сказал:

– Беру на память. Засушу ее как воспоминание о нашей встрече.

Повернулся и молча зашагал к поселку. Ему чертовски хотелось обернуться. Но он чувствовал, что сейчас поступает как крутые, крепкие парни. И поэтому не обернулся ни разу.

XVII

Через десять минут он уже был на родной улице. Стараясь не шуметь, открыл калитку и двинулся к саду. В этот же миг на крыльце дома показалась какая-то тень.

– Кто здесь? Шурик, это ты? – прозвучал материн голос.

Шурка смутился: «Сколько же сейчас времени?».

– Ты что, мам? Что не спишь? Что-то случилось?

– Тебя ждала.

– Да ты что! На время посмотри.

– Никак не могла уснуть.

– Ну, ты, мам, даешь! Что я, маленький, что ли? Чего меня ждать-то? Иди спать.

* * *

Дубравин читал запоем. Бывало, что книга попадала ему на день-другой. Тогда он читал ее день и ночь не отрываясь, а потом неделями ходил под впечатлением. Отвечал на вопросы невпопад. Жил в каком-то своем мире.

Вот и сегодня, придя из школы, он достал из ранца взятую на один день книгу. Сочинение академика Тарле «Наполеон» издания 1941 года. Не раздеваясь, лег в саду на заправленную кровать. Принялся, быстро листая пожелтевшие от времени страницы, просматривать текст.

Ветер-пастух успел перегнать стадо белых облаков на другой край неба. Жара начала ослабевать. Тень от вишневой ветки сползла с головы и переместилась куда-то за спину. За воротами замычала, возвращаясь с пастбы, Ночка. Ее пошла встречать и привязывать мать. Стрелка наручных часов неумолимо падала, а Дубравин все никак не мог оторваться от книги.

«Какая потрясающая судьба! Из глухой корсиканской деревушки... и весь мир узнал его. Да, это жизнь, не дрема. А что здесь? Что еще? Может быть, это время двигает людей? Революции, войны. Где они? Кто бы был Робеспьер без революции? А сам Бонапарт? А мы в какое время живем?»

Шурка вскакивает со своего ложа и возбужденно ходит взад-вперед по тропинке. «Чего я хочу? Чтобы все знали, какой я! Все любили меня. Ради этого стоит стараться!» Он ложится на кровать. «Какое трудное слово! Самосовершенствование. Надо работать, уже сейчас работать, чтобы потом прославиться! Не терять времени».

Он грезит наяву. То видит себя красавцем морским офицером, приехавшим в родную деревню. Все выскакивают на улицу, здороваются, приветствуют его. То представляет себя чемпионом мира по борьбе. Вот он стоит на арене в свете прожекторов. Зал ревет от восторга.

Слава! Господи, как хочется славы! Чего бы ни отдал за этот миг всепланетной известности. Душа его возвышается. Какое-то вдохновение горит на его лице. Он хмурится, потом улыбается. Тихо смеется. В каком-то полубормочном от радости состоянии он уже видит себя героем. Летит на другие планеты, как Гагарин...

– Шу-у-рка! Где ты? Надо корову загнать!

«Где я? Какая корова? Это меня, что ли, зовут?» – недоумевает он. Приходит в себя. И понимает, что стоит посреди сада с палкой в руке. И его зовут, чтобы загнать Ночку в сарай.

Радость сменяется раздражением и злобой. Весь этот мир. Презренный, ничтожный, наполненный тяжелым трудом, борьбой за существование. И людишки какие-то убогие. И интересы у них глупые.

Он аж стонет, заскрипев зубами. «И за что меня судьба так наказала! Родиться в этом дерьме».

За окном раздается знакомый свист. У калитки их дома стоит Вовуля с велосипедом. Вид у него таинственный, уши и щеки горят от волнения.

– Привет, Александр! – как-то полуофициально здоровается он.

– Привет! Ты чего такой важный и взволнованный? Здравоваешься со мной, как какой-нибудь римский всадник с императором.

– Письмо тебе, – на этот раз почему-то шепотом отвечает Вовуля и таинственно добавляет: – От одной девчонки.

– Да ну! – теперь уже Шурка чувствует легкую дрожь.

Все три дня он убеждал себя: «Все закончилось! Наконец-то свободен! Жизнь прекрасна и удивительна!» А тут вдруг язык присох и в коленках слабость от волнения.

Он берет розовый конверт со странной надписью: «Сашке!»

Удивительно: ни Сашеньке, ни Шурику. А вот так. Ну да ладно!

«Саша, мне плохо, и я снова реву и реву. И мне не стыдно, ведь мы всегда плачем. Саша, милый Сашенька, прошу тебя: не приходи больше, забудь меня и все, что было. Ведь это сон. Хороший и стыдливый сон. Я знаю, что для меня это будет большой удар, но так надо, пойми, так будет лучше. Я не пишу тебе о том, что люблю, потому что это будет ложь. Но я знаю одно, что без тебя мне будет очень тяжело... но так нельзя, пойми, любить одну, а целовать другую, это обман, это пошло. Мне стыдно, что это было. Но такое не должно больше повториться. Ты не любишь... Я тоже... Людка».

Прочитав это сумбурное, полное умолчаний и противоречий отчаянное прощальное послание, Дубравин тяжело вздыхает и задумывается. В душе его попеременно поднимаются то сожаление, то раскаяние, то жалость. Он буквально ощущает Людмилу: губы, грудь, тепло рук. Потом отрезвляет себя: «А этого больше не будет. Нет, не будет. Никогда? Никогда!» И ему отчаянно хочется повернуть все вспять: «Не было этого вечера!» Он барахтается в мутном потоке, но где-то на самом доньшке души чувствует, что рад всему происшедшему: «К чему все это могло привести, если бы продолжалось? Чем дальше в лес, тем больше дров. А Галинка... И главное, надо работать для славы, а это все нужно ли?».

Он кладет письмо в карман. Оборачивается к Вовуле. Тот для вида поправляет цепь на велосипеде. Шурка говорит:

– Ответа не будет! Как у нас дела с сегодняшней тренировкой? Скажи пацанам, что я приду сразу на площадку.

XVIII

Прошло три дня.

...Коса, шипя и позванивая, легко ходит в его могучих руках. Под острым жалом никнет трава, падают ниц головки цветов. Ритмичная работа баюкает сознание. «Правильно Людка пишет. Это пошло. А я-то хорош! Размышлял о пошлости, читал другим нотации, а сам влип. Но ведь я не виноват, что так получилось. Она же сама...»

Он механически собирает скошенную на обочине дороги траву в серый дорожный мешок. Закидывает его за спину и, не переставая думать о своей беде, двигается домой.

У ворот дома его ждет посланец.

«Его зовут Леля!» – механически отмечает Дубравин, разглядывая патлатого парня с гитарой и в чудовищно раскрашенных брюках. Леля, а на самом деле Толик Калама вытаскивает сигарету из рта. Мечет ее через палисадник и, заикаясь от волнения, произносит:

– Т-т-там т-тебя одна девочка ж-ждет!

– Кто? – удивленно вскидывает брови Дубравин.

– П-п-просила, чтобы я тебя вызвал. Ну и ну, брат, везет же тебе! Т-такая девчонка. Ты будь с ней по-по-доброму. А то она не в себе. Ну, я п-пошел.

– Стой! А где ждет-то? И кто?

– У-у дуба. У-увидишь.

– Везет же некоторым. Т-такая девчонка! – бурчит он, глядя вслед убегающему Дубравину. И, перекинув гитару через плечо, идет на танцы, где обычно развлекает девчонок музыкой. Правда, пока безрезультатно.

Шурка летит. На фоне могучего черного дуба виднеется тоненькая девичья фигурка. Кудряшки спутаны. Носик опух, глаза заплаканные, красные. Не говоря ни слова, Людка обнимает его за шею и утыкается лицом в широкую грудь.

«Женщины – это тьма», – еще успевает подумать Дубравин.

XIX

Огромный малиновый шар солнца оторвался от серебристо-седой вершины Белухи и медленно начал свой вечный путь на прозрачно-голубом своде.

Горы пробуждаются. По каменной осыпи, оставляя струйки пыли и брызгая разноцветными камешками из-под копыт, мчатся на водопой к шумливому горному ручью круторогие козлы-архары. Орел-стервятник поднялся на жилистые ноги в своем терновом гнезде на неприступной черной скале и принялся обозревать окрестности. Ничто в долине не ускользает от его круглого немигающего глаза: ни суетливая серая мышь, подбирающая с тропы оброненные кем-то сухие зерна, ни холодно блеснувшая узорами новой кожи, выползшая погреться под первыми лучами солнца гадюка, ни странная движущаяся точка.

Орел долго и строго смотрел на нее. Так и не определив, что это, он хрипло заклекотал, забил крыльями, поднимая прошлогодний пух. Потом, неуклюже переваливаясь, подошел к краю скалы, сорвался обломком вниз.

На середине падения встал на крыло, покрутился, ища восходящий поток, оперся не него и, чуть шевеля концами могучих крыльев, стал медленно набирать высоту.

Справа вдали курчавилась облаками голова Белухи, слева дымил мокрыми серыми туманами старый, покрытый шрамами расщелин Гульбинский хребет. Прямо под ним по долине тянулся молочно-синий язык ледника. Горное солнце плавало лед, и от этого противоборства жгучей жары и холода рождалась вода ручья, убегавшего к горизонту.

Орел уже разглядел существо, идущее к леднику. Это человек. Человек в мире орлов считается едва ли не самым жалким существом: нечто среднее между мышью и лягушкой. Крыльев не имеет, летать не умеет. Горный баран – и тот на своих четырех перемещается быстрее него. Живет, как крыса, в каких-то каменных норах. Но при этом самомнение... Считает себя главным на Земле. Думает, что она принадлежит ему. На самом деле рядом с ним существуют еще тысячи неподвластных людям миров. Вот, например, мир птиц, где живет и орел. Тут свои законы и обычаи, свои радости и горе. И нет им, птицам, никакого дела до этих двуногих, что питаются падалью и бродят где-то там, внизу. Это они, птицы, чувствуют себя властелинами мира, особенно в те мгновения, когда парят над землей. Высоко-высоко.

Орел покружил еще немного и, потеряв интерес к этой недоптице, опустился в гнездо. Только изредка косил красным круглым глазом на ползущего вверх по склону.

А тот уже вышел на ледник и рубил ступеньки. Пересохшими губами ловил отлетающие под ударами льдинки, любовался россыпями горящего, искристого под солнцем снега, озирали угрюмые скалы вокруг.

Его ботинки на толстой рифленой подошве давно промокли, ободранные колени дрожали от напряжения, ладони саднили от лопнувших мозолей.

Последние метры он полз. Вбивал сильным ударом ледоруб, потом подтягивался вперед, ощущая животом и коленями холод и шероховатость тонкого снежного наста.

Дополз. Уцепился стальным зубом ледоруба за край ледяной купели ручья, подвинулся ближе и припал к хрустальной струе.

Ледяная вода ударила в нос, глаза, хлынула за шиворот. Шурка Дубравин обжегся, задохнулся и... рассмеялся...

Живая вода и непревзойденно роскошный горный пейзаж стали ему наградой за упорство.

Несколькимистами метров ниже, там, где чахлые, растущие пучками травы из последних сил уцепились корнями за сухую, каменистую землю, сидит в тени под нависшим над тропой крутым лбом скалы другой человек. Андрей Франк, с которым Шурка Дубравин сегодня

рванул наверх, до ледника не пошел. То ли не смог, то ли упорства не хватило. В общем, так и остался на месте их последнего привала.

А все началось вчера, когда Аркадий Тихонович Кочетов, с которым они делали зачетный поход перед республиканским слетом туристов, сказал, что их группа находится совсем рядом с истоком Гульбы – всего километра полтора. Тогда-то Шурка и решил, что обязательно к нему дойдет. И позвал с собой Андрея.

Они встали сегодня рано, в темноте, когда весь лагерь еще спал. И двинулись по тропе вдоль ручья. Действительно, исток оказался не так уж и далеко. Часа полтора быстрым шагом. Но дорога была трудной, а с последнего привала и вовсе надо было ползти круто вверх. Шурка пошел, а Андрей остался. Теперь он сидел на берегу на камешке, глядел на воду и размышлял о своих заботах.

Ему очень хотелось стать таким же, как остальные ребята. Сильным. Он красивый парень. Невысокого роста, гибкий, поджарый, как гимнаст. Но в этой красоте нет того, что составляет сущность мужчины, – силы. Уж как он старается. Не было человека, который лучше бы него делал «скобки» и перевороты на турнике. И мышцы у него росли. А вот этой самой внутренней основы – мужского упрямства – не было. Где-то в глубине души он неосознанно завидовал Дубравину и Казакову. Дубравину – потому что в том была эта упорная сила. Казакову – потому что тот знал, чего хотел в этой жизни.

В каждой группе как-то делятся роли. Так вот, если Дубравин считался совестью компании, а Казаков – ее двигателем, то Андрей, наверное, был ее душой. Его дни рождения отмечались веселее всех. Он чаще всего предлагал походы на природу или поездки в город.

Сейчас его чистые светло-серые глаза грустны, а на лице видны печаль и озабоченность. Полчаса тому назад он сказал Дубравину, что дальше не пойдет, и сел здесь дожидаться того, кто твердо решил добиться своего. Но забота и печаль на этом юном лице были вовсе не о том, дойдет Шурка или нет. Андрей готовился к разговору с Дубравиным. К разговору о сугубо личном, интимном.

«Да, только Шурка может меня понять. И что-то посоветовать», – думал он...

Так он сидел, смотрел вдаль, в долину, где деревья штурмовыми отрядами взбирались на крутые склоны, а голые скалы сопротивлялись этому нашествию жизни, бомбили их многотонными каменными осыпями, часто срезавшими у корня и калечившими стройные стволы.

Там, где небо сливалось с вершинами, он заметил горного козла.

Круторогий контур его появился на минуту на самом краю обрыва и затем растаял в синем тумане.

Через минуту из-за двух громадных валунов, загораживающих тропу, выскочила большая, поджарая, с мускулистой грудью и мощными лапами овчарка.

Подскочила, прилегла в тени у ног. Вытягивая острую мордочку с высунувшимся между белыми клыками языком, залаяла.

– Успокойся, успокойся! Тихо, Джуля, – Андрей потрепал собаку по жесткой шерсти. – Идет Шурка. Идет твой хозяин.

Он не ошибся. Через несколько минут показался сам Дубравин. Распаренный быстрой ходьбой под гору, в распахнутой штормовке и завязанной на пупе рубашке, он шагал легко, иногда съезжая при крутых спусках по песку и камням на каблуках.

Собака бросилась ему навстречу, радостно запрыгала, норовя лизнуть в лицо. Дубравин, стройный, широкоплечий, весь налитый стремительной упорной силой, отталкивал пса, приговаривая: «Кыш отсюда!», а сам победно поднимал, показывал Андрею подмокший снизу рюкзачок.

– Вот, наколол льда от самого истока Гульбы.

Потом они присели перекусить. Пожевали колбасы с хлебом.

Дубравин ел жадно, то и дело оглядывая глубоко посаженными блестящими глазами величественную панораму уходящих к горизонту зеленых вершин. Франк жевал вяло. Чувствовалось, его что-то гнетет. Наконец он глубоко вздохнул и начал говорить:

– Вот ты у нас как бы идеолог. Опыт у тебя общения поболее моего. Растолкуй мне, что делать в такой ситуации...

– В какой?

– А вот в какой. Тут, понимаешь, такое дело. Тянет меня к ней.

– К кому «к ней»? Ты говори яснее. Что темнишь? Тянет, не тянет.

– К Галинке...

– К какой Галинке?

Дубравин сразу и не сообразил, что речь идет о Галине Озеровой. И поэтому подготовился отвечать на все заданные ему вопросы по принципу «чужую беду руками разведу». Но когда понял, что речь пойдет о человеке, который ему далеко не безразличен, осекся.

– К Озеровой!

– Ах, к Озеровой! – Шурке совсем не нравилась роль поверенного чужих тайн. С другой стороны, в нем боролись мальчишеское любопытство и дружеское чувство к Андрею. Он ведь не виноват в том, что произошло. Да и откуда он знает, что творится у Шурки в душе? Для него Дубравин – лучший друг, счастливый возлюбленный самой красивой, энергичной девчонки в классе. Вот пусть и поделится опытом.

– И давно это у тебя? – наконец после минутного молчания спросил Шурка.

– Да всегда это у меня было. Еще с первого класса она мне нравилась. С тех пор как сидели вместе за одной партой.

– Ого!

– Что мне теперь делать? Тянет меня к ней. А вот как подойти, не знаю. Тебе хорошо. У вас с Людой все на мази. Весь класс знает...

При этих словах лицо Дубравина, и без этого по мере продвижения разговора становившееся чернее тучи, вообще сделалось грозovým. «Да, весело, нечего сказать, – подумал он. – Но Андрей ждет какого-нибудь совета от меня. Что же ему сказать? Оставь ее. Не питай иллюзий. Или: я сам люблю ее. Да что ж это за рабство такое, что и дня я без нее прожить не могу! А в общем, мое дело – безнадега. Куда уж мне теперь. Весь класс знает».

Шурка глянул в грустные бесхитростные Андреевы глаза, и что-то в душе его дрогнуло, надломилось. «А почему, собственно, не помочь другу хоть советом? В конце концов, ради друга... А потом, это какое-то рабство. Почему я, свободный человек, вольная птица, с тех пор так завишу от нее? Так привязан к ней? Глядишь, и поможет мне развязать этот узелок».

– Что тебе делать? – вслух сказал он. – Да я думаю, для начала пригласи ее с кем-нибудь в кино. Ты с другом. Она с подружкой. Найдите какой-нибудь общий разговор. А там пойдет все само собой.

– Давай я ее с Людмилой приглашу. И с тобой. На «Фантомаса»! Вчетвером пойдем...

«Этого мне только не хватало! – ужаснулся такой перспективе Дубравин. – Наблюдать за вашими амурами».

– Да ты знаешь, у нас с Крыловой уже другая стадия отношений. Вряд ли мы вам чем-нибудь поможем. Возьми Толяна хоть с Танькой Жариковой. Они тебе нужны будут только для прикрытия.

«Господи, надо кончать этот разговор, а то я сейчас заору»!

– Слушай, Андрей, нам пора топтать вниз. А то наши проснутся и обыщутся, куда мы пропали. То-то будет шума.

– Ну, пойдем!

Двинулись в обратный путь.

Впереди – уши и хвост торчком – бежал Джуля.

Иногда он пускался то за коричневым панцирным жуком, прогудевшим перед собачьим носом, то за севшей голубым бантиком на зеленую траву бабочкой. Следом топал Дубравин. Последним шел Андрей и постоянно заводил один и тот же разговор.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.